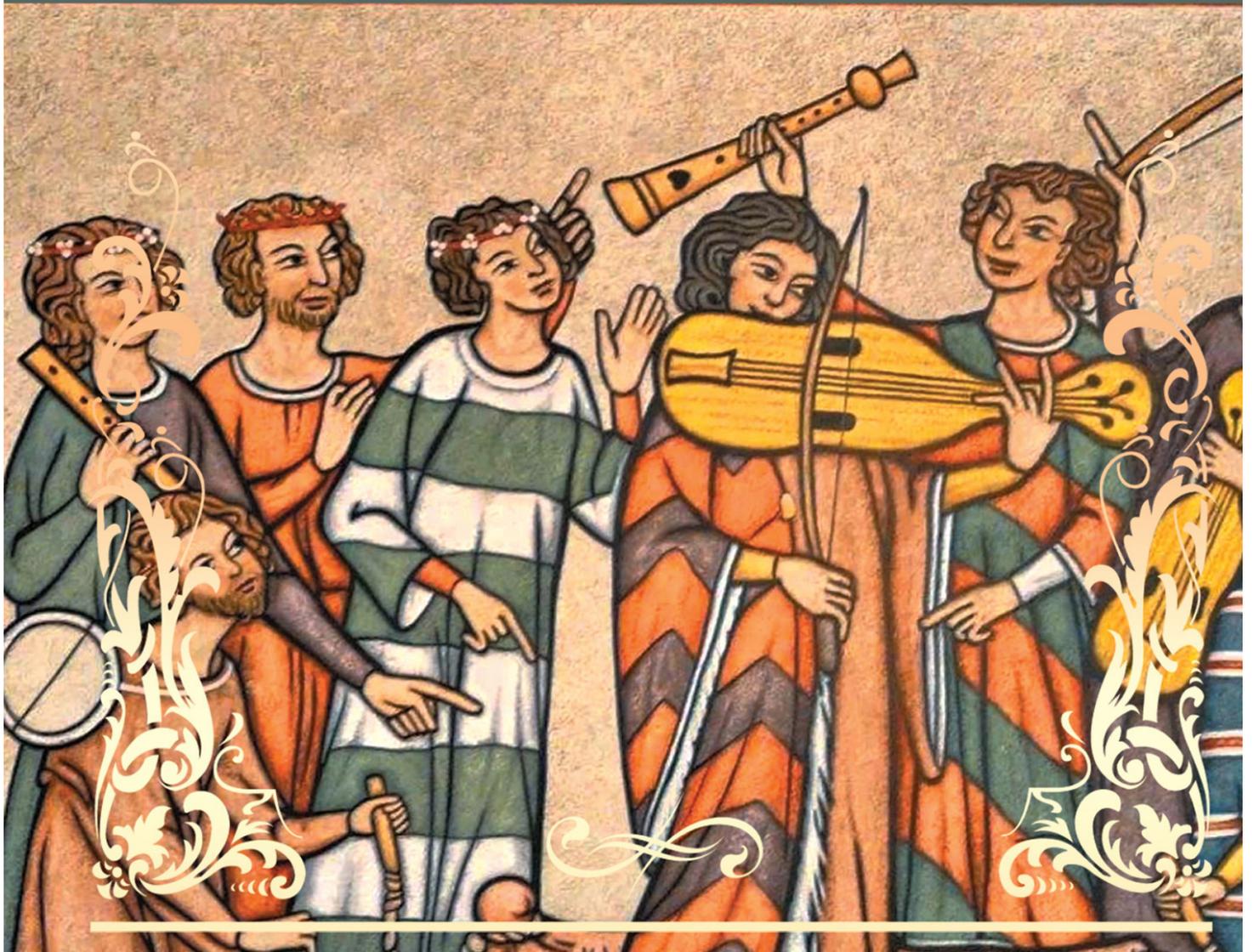


100 великих романов

Ганс Якоб
Кристоффель
фон ГРИММЕЛЬСГАУЗЕН

СИМПЛИЦИССИМУС



100 великих романов

Ганс Якоб Гриммельсгаузен

Симплициссимус

«ВЕЧЕ»

1669

Гриммельсгаузен Г. К.

Симплициссимус / Г. К. Гриммельсгаузен — «ВЕЧЕ»,
1669 — (100 великих романов)

ISBN 978-5-4484-8066-9

Роман Г.Я.К. фон Гриммельсгаузена (1622—1676) — один из ярчайших образцов плутовского романа. События происходят в Европе времен Тридцатилетней войны (1618—1648). Повествование ведется от лица главного героя — веселого и бесстрашного ваганта по имени Мельхиор Штернфельс фон Фуксхейм. Странствуя по всему миру, он становится то разбойником, то смиренным отшельником, оказывается в подводном царстве и попадает в рабство на галеры.

ISBN 978-5-4484-8066-9

© Гриммельсгаузен Г. К., 1669

© ВЕЧЕ, 1669

Содержание

Благодарное напоминание доброхотным читателям	10
Книга первая	12
Первая глава	15
Вторая глава	17
Третья глава	19
Четвертая глава	21
Пятая глава	23
Шестая глава	24
Седьмая глава	25
Восьмая глава	27
Девятая глава	29
Десятая глава	31
Одиннадцатая глава	32
Двенадцатая глава	34
Тринадцатая глава	36
Четырнадцатая глава	38
Пятнадцатая глава	40
Шестнадцатая глава	41
Семнадцатая глава	43
Восемнадцатая глава	46
Девятнадцатая глава	48
Двадцатая глава	50
Двадцать первая глава	52
Двадцать вторая глава	54
Двадцать третья глава	56
Двадцать четвертая глава	58
Двадцать пятая глава	61
Двадцать шестая глава	63
Двадцать седьмая глава	65
Двадцать восьмая глава	67
Двадцать девятая глава	68
Тридцатая глава	69
Тридцать первая глава	71
Тридцать вторая глава	72
Тридцать третья глава	73
Тридцать четвертая глава	74
Книга вторая	76
Первая глава	78
Вторая глава	80
Третья глава	82
Четвертая глава	85
Пятая глава	87
Шестая глава	89
Седьмая глава	91
Восьмая глава	93
Девятая глава	95

Десятая глава	97
Одиннадцатая глава	100
Двенадцатая глава	102
Тринадцатая глава	104
Четырнадцатая глава	107
Пятнадцатая глава	109
Шестнадцатая глава	111
Семнадцатая глава	113
Восемнадцатая глава	115
Девятнадцатая глава	117
Двадцатая глава	119
Конец ознакомительного фрагмента.	122

Ганс Якоб Кристоф фон Гриммельсгаузен

Симплициссимус

Роман

Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen
Der abenteuerliche Simplicissimus



* * *

© ООО «Издательство „Вече“», 2019

© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2019

* * *

**ВНОВЬ НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ УПОРЯДОЧЕННЫЙ
И ПОВСЮДУ МНОГАЖДЫ ИСПРАВЛЕННЫЙ
ЗАТЕЙЛИВЫЙ СИМПЛИЦИУС СИМПЛИЦИССИМУС**

То есть:

**ПРОСТРАННОЕ, НЕВЫМЫШЛЕННОЕ
И ВЕСЬМА ПРИСНОПАМЯТНОЕ
ЖИЗНЕОПИСАНИЕ НЕКОЕГО ПРОСТОСОВЕСТНОГО,
ДИКОВИННОГО И РЕДКОСТНОГО БРОДЯГИ,
ИЛИ ВАГАНТА, ПО ИМЕНИ
*МЕЛЬХИОР ШТЕРНФЕЛЬС ФОН ФУКСХЕЙМ,***

**КАК, ГДЕ, КОГДА И КОИМ ИМЕННО ОБРАЗОМ
ЯВИЛСЯ ОН В МИР, КАК ОН В НЕМ ПОСТУПАЛ,
ЧТО ВИДЕЛ ПРИМЕЧАНИЯ ДОСТОЙНОГО,
ЧЕМУ НАУЧИЛСЯ И ЧЕМ ЗАНИМАЛСЯ, КАКИЕ
И ГДЕ ИСПЫТАЛ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИЗНИ
И ТЕЛЕСНОГО ЗДРАВЬЯ, А ТАКЖЕ ЧЕГО РАДИ,
ПО ДОБРОЙ СВОЕЙ ВОЛЕ И НИКЕМ
К ТОМУ НЕ ПОНУЖДАЕМ, ПРЕЗРЕЛ СЕЙ МИР.
ОСОБЛИВО ПРИЯТНОЕ И ОТДОХНОВИТЕЛЬНОЕ,
А ТАКЖЕ ВЕСЬМА ПОЛЕЗНОЕ
И ГЛУБОКОМЫСЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ**

С ПРЕДИСЛОВИЕМ, 20 ИЗРЯДНЫМИ ГРАВЮРАМИ

НА МЕДИ И ТРЕМЯ CONTINUATIONES

ИЗДАЛ:

ГЕРМАН ШЛЕЙФХЕЙМ ФОН ЗУЛЬСФОРТ

*Мне по душе добро творить.
Со смехом правду говорить.*

МОМПЕЛЬГАРТ

НАПЕЧАТАНО ТИПОГРАФСКИМ ТИСНЕНИЕМ

У ИОАННА ФИЛЛИОНА В НЮРНБЕРГЕ.

А В ПРОДАЖЕ НАХОДИТСЯ

У В.-Э. ФЕЛЬСЕКЕРА

1671

*Как Феникс, рожден я из пламени был.
Я ввысь воспарял, но себя не сгубил,
Бродил я по странам, в морях я бывал,
Отрады в скитаниях мало знавал,
О том же, что делалось в жизни моей,
Поведал читателю в книжице сей.
Пусть в жизни он следует ныне за мной:
Бежит неразумья, вкушает покой.*

Благорасположенное напоминовение доброхотным читателям

Высокочитимые, благосклонные, предорогие и любезные соотечественники!

Сим издается в свет совершенно новым набором и тиснением мое утешно-занимательное и весьма глубокомысленное Жизнеописание, украшенное изрядными гравюрами на меди, изготовленными по моей инвенции, а также моего батьки, матки, Урсело и сына Симплиция, к чему понуждает меня дерзкий и поистине наглый перепечатник, который, уж не ведаю, по зависти ли себялюбивого сердца или, как мне скорее думается, по бесстыдному подстрекательству неких недоброхотов, вознамерился пренаглым образом вырвать из рук и совершенно незаконно присвоить себе высокопохвальные труды, издержки, прилежание и усердие моего господина издателя, употребленные на добропорядочное и благопристойное издание сего моего сочиненьица, ему одному только препорученного и переданного со всею проистекающею из сего прибылью. Такое бесчинное предприятие, когда я о нем уведомился, повергло меня в пружестокую опасную болезнь, от коей я и по сей день не оправился. Однако ж велел я возлюбленному моему сыну Симплицию составить вместо меня и разослать любезным моим соотечественникам, а также довести до слуха Юстиции трактатец, на титуле коего обозначено:

ЗАПУСКАЮЩЕМУ ЛАПЫ В ЧУЖОЕ ДОБРО

БЕЗЗАКОННИКУ ПО ПРАВУ ОБРЕЗАННЫЕ КОГТИ

Надеюсь, что сие сочиненьице будет вам не докучливо, ибо в нем содержатся такие аргана¹, которые дают в руки превосходное средство сохранить свое добро в надежном покое и приятной безопасности. Меж тем пусть сие издание моей книги, на коем обозначено имя моего издателя, будет предпочтено всем прочим; ибо другие экземпляры, кои выпущены противною стороною, я, не будь я Симплициссимусом, не только не признаю своими произведениями, но и стану их всячески преследовать до последнего дыхания, и, где только ни увижу, велю пустить на обертку, и не премину послать образчик господину Перетырщику. Впрочем же, не могу также не уведомить, что мой издатель с великим прилежанием и издержками намерен выпустить в свет мой «Вечный неизменный Календарь», также многие другие презанимательные сочинения, как-то: «Черное и Белое, или Сатирический Пильграм», «Побродяжка Кураже», «Затейливый Шпрингинсфельд», «Целомудренный Иосиф и его верный слуга Музай», приятная для чтения «Любовная гистория и жизнеописание Дитвальда и Амелинды» и еще «Двуглавый Ratio status»², за коими в будущем должна последовать, ежели я и сын мой Симплиций будем живы, небольшая ежегодная настольная книга или календарь в кварту, содержащий Continuatio, сиречь продолжение моих диковинных приключений, дабы оказать вам, любезные соотечественники, некоторое удовольствие. А буде объявится наглый и охочий до чужого добра мошенник, который вознамерится и сие перепечатывать и присваивать, то я учиню ему такую баню или отместку, что он до конца дней своих не забудет Симплициссимуса. И сие, прошу вас, господа соотечественники, где бы вы ни пребывали, не оставлять без внимания. Я же, напротив, служу вам, чем только могу и умею, и остаюсь

Вашим покорным слугою

¹ Тайны (лат.).

² Государственная польза (лат.).

Симплициусом Симплициссимусом .

Книга первая

Краткое содержание каждой главы сей первой книги

- 1-я гл. Симплиций толкует о знатном роде,
Понеже давно он славен в народе.
- 2-я гл. Симплиций пастушеский сан приемлет,
Сей же никто у него не отъемлет.
- 3-я гл. Симплиций дудит на волынке пузатой,
Покуда его не схватили солдаты.
- 4-я гл. Симплициев дом – солдатам награда,
Нигде их разбою не видно преграды.
- 5-я гл. Симплиций в лесу, что малая птаха,
Колотится сердце его от страха.
- 6-я гл. Симплиций в лесу отшельника слышит,
Повергся в ужас, сам еле дышит.
- 7-я гл. Симплиций находит себе кров и пищу,
С отшельником вместе живет, словно нищий.
- 8-я гл. Симплиций в беседе с отшельником сразу
Выводит наружу дурацкий свой разум.
- 9-я гл. Симплиций становится христианином,
А жил он доселе скотина скотиной.
- 10-я гл. Симплиций писать и читать обучен,
В мыслях с пустыней вовек неразлучен.
- 11-я гл. Симплиция повесть о жизни в пустыне,
Что им служило столом и периной.
- 12-я гл. Симплиций смерть зрит, какого бывает,
Отшельника тело в земле погребают.
- 13-я гл. Симплициус хочет пустыню покинуть,
Где ему привелось едва не погибнуть.
- 14-я гл. Симплиций видит, как солдаты-черти
Пятерых мужиков запытали до смерти.

15-я гл. Симплиций уснул, не насытивши чрева,
Зрит в сонном виденье пречудное древо.

16-я гл. Симплициус грезит о солдатской доле,
Где младший у старших всегда под неволей.

17-я гл. Симплиций не может взять себе в толк,
Чего ради охотно дворян берут в полк.

18-я гл. Симплиций в лесу письмецо обретает,
Пустыню затем не к добру покидает.

19-я гл. Симплициус ищет лучшую долю,
А сам попадает в злую неволю.

20-я гл. Симплиций понуро шагает в тюрьму,
По счастью, священник попался ему.

21-я гл. Симплициус после тяжких невзгод
Нечаянно зажил средь важных господ.

22-я гл. Симплициус слышит, как после сраженья
Отшельник в пустыне обрел утешенье.

23-я гл. Симплициус жизнь начинает наново,
Становится пажем у коменданта в Ганау.

24-я гл. Симплиций казнит беззаконие мира,
Где каждый избрал себе злого кумира.

25-я гл. Симплиций не может в злом мире ужиться,
А мир сердито на него косится.

26-я гл. Симплиций взирает ребяческим оком,
Каким солдаты подпали порокам.

27-я гл. Симплиций зрит, как крапивное семя
Добро наживает в недоброе время.

28-я гл. Симплиций в гаданье теряет кураж,
Его надувает проказливый паж.

29-я гл. Симплиций, соблазном смущен, ненароком
Проворно съедает телячье око.

30-я гл. Симплиций впервой зрит пьяных солдат,
Вздурились за чаркой, сам черт им не брат.

31-я гл. Симплициус ставит на пробу кунштюк,

Едва тут ему не случился каюк.

32-я гл. Симплициус зрит: на пиру кавалеры
Священника потчуют сверх всякой меры.

33-я гл. Симплиций относит на кухню лисицу
С приказом сготовить на ужин с корицей.

34-я гл. Симплиций на странных танцоров дивится,
От страху в глазах у него все двоится.

Первая глава

Симплиций толкует о знатном роде,

Понеже давно он славен в народе

В наше время (когда толкуют, что близится конец света) нашло на людей подлого звания поветрие, при коем страждущие от него, коль скоро им удастся нагребастать и набарышничать толико, что они, помимо немногих геллеров в мошне, обзаведутся еще шутовским платьем по новой моде с шелковыми лентами на тысячу ладов или же иным каким случаем прославятся и войдут в честь, тотчас же восхотят они объявить себя господами рыцарского сословия и людьми благородного состояния предревнего роду; а как частенько оказывается и прилежными поисками подтверждение находит, деды-то их были трубочисты, поденщики, ломовики и носильщики, двоюродные их братья – погонщики ослов, фокусники, фигляры и канатные плясуны, братья – палачи и сыщики, сестры – швеи, прачки, метельщицы, а то и потаскушки, матери – сводницы или даже ведьмы, и, одним словом, весь совокупный род их в тридцать два предка столь загажен и обесчещен, сколь это повсегда лишь цеху сахароваров в Праге быть возможно; да и сами они, новоиспеченные эти дворяне, нередко столь черны, как если бы они родились в Гвинее и воспитаны там были.

Я не хочу вовсе уподобить себя таким шутовским людям, и, хотя не скрою правды, сам не без того, и частенько мнил, что беспрременно происхожу от некоего вельможного барина или, по крайности, от простого дворянина, ибо от природы питаю склонность к дворянскому ремеслу, – будь у меня на то достаток и снаряжение. Однако ж мое происхождение и воспитание не шутя можно сравнить и с княжеским, ежели не пожелать усмотреть в них великое различие. Чего? У моего батьки (ибо так зовут отцов в Шпессерте) был собственный дворец, такой же, как и у прочих, притом красивый, какого ни один царь в свете, будь он еще более могуществен, чем великий Александр, не сумеет построить своими руками и от того на веки вечные заречется; оный дворец был расписан глиною и заместо бесплодного шифера, холодного свинца и красной меди покрыт соломою от благородных злаков; и дабы он, мой батька, своим высокочтимым и знатным родом, от самого Адама ведущимся, и своим богатством достойно мог величаться, повелел он воздвигнуть вокруг замка стены, да не из камня, что находят на дороге или выкапывают из земли в бесплодных местах, а тем паче не из тех никудышных печеных камней, кои в короткое время изготовлены и обожжены быть могут, как это в обычае у иных важных господ; вместо того взял он бревна от дуба, каковое полезное и благородное дерево (ибо на нем произрастают окорока и колбасы), чтобы прийти в совершенный возраст, требует не менее ста лет. Найдите монарха, который тако же поступил бы! Найдите венценосца, который возмечтал бы сие в дело произвести! Батька мой повелел все комнаты, залы и покои почернить дымом того только ради, что то – самая неотменная краска в мире и подобная роспись более времени для своего исполнения требует, нежели искусный живописец для изряднейших своих картин. Обои там были самой тонкой на земле ткани, ибо та, кто ее нам изготовила, в древности осмелилась с Минервой самой в прядении состязаться. Окошки там были посвящены святому Николе Бесстекольному, не по иной какой причине, кроме той, что ему было ведомо, сколько труда и времени положить надобно на совершенное изготовление стекла из конопли, либо льняного семени, – много более, нежели на самое лучшее и прозрачное стекло из Мурано, ибо достоинство батьки позволяло ему полагать, что все великим трудом добы-

тое потому именно и великую цену имеет и тем дороже бывает, а то, что дорого, знатным людям более всего приличествует и достоинству их подобает. Вместо пажей, лакеев и конюхов были от него поставлены овцы, козлы и свиньи, весьма искусно наряженные в подобающую им природную ливрею; они частенько услужали мне на пастбище, пока я, утружденный их службой, не отошлю их от себя и не загоню домой. Оружейная палата, или арсенал, вдосталь и наилучшим образом снабжена была плугами, кирками, мотыгами, топорами, лопатами, навозными и санными вилами, с каковым оружием батька мой каждодневные упражнения имел. Лес валить и корчевать – вот в чем была его *disciplina militaris*³, как у древних римлян в мирные времена; волы в упряжке составляли его команду, над которой он был капитаном, вывозить навоз было его фортификацией, а пахотьба его походом, рубка дров каждодневным *exercitio corporis*⁴ подобно тому как очистка хлева благородной забавой и турниром. Сим образом ратоборствовал он со всей землей, сколько мог ее захватить, и каждой жатвой отбивал у нее богатую добычу. Все сие оставляю и нисколько тем превознести себя не хочу, дабы никто не имел причины осмеять меня и иных, подобных мне, из новой той знати, ибо я почитаю себя не выше моего батьки, коего помянутое жилище стояло на веселом месте, то есть в Шпессерте, где пополам подвывают волки: «Покойной ночи!» Ради любезной мне краткости не объявил я еще о происхождении, родословии и прозвании моего батьки, наипаче же потому, что тут и без того не идет речь о дворянском установлении, которое я должен был бы подтвердить под присягою; довольно, когда знают, что я родом из Шпессерта!

Как во всем домоустройстве моего батьки благородство весьма приметно было, то всякий разумеющий отсюда легко заключить может, что и мое воспитание тому сходствовало и подобало; и кто так рассудит, тот не ошибется, ибо в десять лет я уже постиг помянутые *principia*⁵ благородных батькиных упражнений. Зато в обучении наукам я шел наравне с прославленным Амплистидом, о ком говорит Свидя, что он не умел сосчитать дальше пяти; но, как видно, батька обладал чрезмерным умом и того ради последовал употребительному обычаю нынешнего времени, по коему многие знатные господа не утруждают себя учеными упражнениями, или, как они то называют, школьной дуростью, ибо держат пачкунов, которые марают за них бумагу. Впрочем, я изредка игрывал на волынке жалостные песни Ялема, в чем не уступал и славному Орфею, и как тот отличился на арфе, так и я преуспевал перед всеми чрез свою игру на волынке. А что касается до теологии, то во всем христианском мире не сыскалось бы тогда другого, который в моем возрасте со мной поравняться бы мог, в том меня не переспоришь; ибо не было у меня тогда понятия ни о Боге, ни о людях, ни о небе, ни о преисподней, ни об ангелах, ни о чертях, и я не знал, как отличить добро от зла. Посему нетрудно усмотреть, что с помощью такого богословского образования жил я, как прародители в раю, кои в своей беспорочности не знали о болезнях, смертном одре и смерти и еще того меньше о воскресении из мертвых. О, сколь господское житие (прескотское, мог бы ты воскликнуть), когда не надобно печалиться о медицине! Тем же родом можно уразуметь, сколь превосходен был мой опыт в *studio legum*⁶ и других искусствах и науках, какие только есть на земле. И я пребывал в столь полном и совершенном неведении, что не мог постичь даже того, что ничего не знаю. И еще раз скажу: «О, сколь господское житие было тогда моим уделом!» Но батьке моему не было угодно оставить меня наслаждаться сим благополучием, и он по справедливости рассудил, что сообразно с моим благородным рождением подобает мне жить и поступать также благородно; для того и стал он привлекать меня к постижению высоких предметов и задавать мне нелегкие уроки.

³ Военное искусство (*лат.*).

⁴ Телесным упражнением (*лат.*).

⁵ Основы (*лат.*).

⁶ Изучении законов, юриспруденции (*лат.*).

Вторая глава

Симплиций пастушеский сан приемлет,

Сей же никто у него не отъемлет

Он даровал мне высокий сан, который учрежден не только при его дворе, но и во всем мире, то есть древнее достоинство пастуха. Первым делом вверил он мне свиней, затем коз и напоследок все стадо овец, дабы я их стерег, пас и охранял от волков с помощью волынки (звук которой, по словам Страбона, сам по себе понуждает жиреть овец и ягнят в Аравин); в те времена ходил я на Давида, разве только что у него вместо волынки была всего лишь арфа; сие нехудое начало было добрым предзнаменованием, что со временем и я, ежели подвернется счастье, прославлюсь на весь мир. Ибо от сотворения мира пастухами бывали знатные особы, как мы сами читали в Священном писании про Авеля, Авраама, Исаака, Иакова, его сыновей и Моисея, который стерег овец тестя до того, как стал предводителем и законодателем 600 000 мужей Израиля. Да, может статься, кто захочет меня упрекнуть, что то-де были святые праотцы, а не деревенский мальчишка из Шпессерта, который даже ничего не слышал о Боге. Должен признать это и не стану заперяться; но разве тогдашняя моя простота в том повинна? И среди древних язычников находят такие примеры, как и у народа, избранного Богом: так, из римлян, нет сомнения, принадлежали к знатным родам – Бубульки, Статилии, Помпонии, Внтулии, Вителии, Аппии, Каперн и др., кои все так наречены были, потому что ходили за скотиною, а может статься, и пасли ее. Право, Ромул и Рем и те были пастухами; пастухом был Спартак, столь ужасавший владык Рима. Да что там! Сын царя Приама Парис и Анхис, отец троянского князя Энея, были пастухами, как о том говорит Лукиан в «Dialogue Helenae». Пастухом был и прекрасный Эндимион, к которому вожелела сама непорочная луна, также и свирепый Полифем, да и сами боги, как говорит Форнутус, не стыдились этого занятия. Аполлон стерег коров Адмета, царя Фессалии. Меркурий, его сын Дафний, Пан и Протей были изрядными пастухами, того ради до сего дня в устах безрассудных поэтов они именуются покровителями пастухов; пастухом был Меза, царь моавитян, о чем можно прочесть во второй Книге царств; Кир, могущественный царь персов, не только был воспитан Митридатом, но и сам пас скот. Гигес был пастухом и с помощью своего перстня стал царем. Исмаил Сефи, персидский шах, также в юности своей пас скот; так, Филон Иудей изрядно о том судит в «Vita Moysis»⁷, когда говорит: «Пастушество приуготовляет к принятию власти; ибо как *bellicosa* и *martialia ingenia*⁸ прежде упражняются и совершенствуются на охоте, так должно и тех, кому вручена будет власть, сперва наставить, как пасти с миром скот». Батяка мой должным образом уразумел все сие, ибо имел он изрядный capitoлиум на плечах и весьма проницательный ум, того ради вперил он в меня немалую и до сего часа не оставившую меня надежду на будущее величие.

Однако же, возвращаясь к моему стаду, пусть будет ведомо, что волков я знал столь же мало, как и свою простоту: того ради батяка мой в своих наставлениях весьма прилежен был. Он сказал: «Малой, держи ухо-то востро, смотри за овцами-то, чтоб не разбежались, играй веселей на волынке, не ровен час, набежит волк да натворит бед, то такой четвероногой плут

⁷ «Жизнь Моисея» (лат.).

⁸ Воинственные гении (лат.).

и вор, жрет людей и скот, а коли ты недосмотришь, то я тебя отдую». Я ответил ему с тою же приятностию: «Батько, скажи-ко, какой-такой волк-то, волка-то я еще никогда не видывал». – «Ах ты, дурень глупый, – отвечивал он, – дураком проживешь, дураком помрешь, диву даешься, что с тобой станется, вырос большою орясиною, а того не знаешь, что за плут о четырех ногах, волк-то».

Также преподавал он мне иные многие наставления и под конец возмутился духом, поелику ушел с неким ворчанием, полагая, что мой простой и неотесанный ум еще не довольно вылощен и не может постичь столь subtilных наставлений и еще к тому не способен.

Третья глава

Симплиций дудит на волынке пузатой,

Покуда его не схватили солдаты

Тут зачал я на своей волынке так всех потчевать, что на огороде жабы могли передохнуть, так что от волка, кой не выходил у меня из ума, мнил я себя в совершенной безопасности; и тем временем вспомнилась мне матка (ибо так зовут матерей в Шпессерте и Фогельсберге), как она частенько говаривала: ей забота, как бы куры от моего пения не попередохли, и было мне любо петь, дабы гетесііum⁹ против волков имел еще большую силу, и притом пел я ту самую песню, какую я перенял от матки:

Презрен от всех мужичин род,
Однако ж кормит весь народ.
Достоин ты премногих хвал
Для всех, кто истину познал.
Когда б Адам пахать не стал,
То б целый свет жить перестал.
С мотыгой землю он прошел,
Чтоб следом князь на трон взошел.
Все, что земля приносит нам,
Возделал ты, презренный хам!
Тобою жатва собрана,
Которой кормится страна.
И даже царь, что богом дан,
Прожить не может без крестьян.
Твой хлеб мужицкий ест солдат,
Хоть от него тебе наклад.
Вино для барского стола
Земля трудом твоим дала.
Земля приносит все плоды,
Когда рожать понудишь ты!
Весь свет давным-давно б поник,
Когда б не жил на нем мужик.
Пустыней стала бы земля,
Когда бы не рука твоя.
А посему тебе и честь,
Зане даешь ты всем нам есть.
Натурой ты исполнен сил
И бог тебя благословил.
Подагра, что дворян разит,
Ногам мужицким не грозит.

⁹ Лекарство, средство (лат.).

Что в гроб низводит богачей,
То не мрачит твоих очей.
А чтоб тебя не ела спесь,
С начала века и донесъ —
Тебе ниспослан тяжкий крест
Нести до самых горних мест.
Твое добро берет солдат
Тебе ж на благо – будь же рад.
Тебя он должен грабить, жечь,
Дабы от чванства уберечь...

До сих пор и не долее продолжал я сие сладостное пение, ибо в тот миг окружил меня и мое стадо отряд кирасир, которые заплутались в частом лесу, а моя музыка и пастушеские клики вывели их на верную дорогу. «Ого, – подумал я, – так вот они, голубчики! Так вот они, четвероногие плуты и воры, о которых говорил тебе батька», – ибо сперва почел и коня и мужа за единую тварь (подобно тому как жители Америки испанских всадников) и полагал, что то не иначе как волки, и захотел я ужаснейших сих кентавров протурить и от них избавиться. Но едва успел я надуть мех своей волынки, как один из них поймал меня за шиворот и столь жестоко швырнул на крестьянскую лошадь, которая вместе с многими другими досталась им в добычу, что я перекинулся через нее и упал прямо на милую мою волынку, зачавшую тогда взывать столь жалостно, как если бы она хотела пробудить весь свет к милосердию: но было то напрасно, хотя и скорбела она о моем несчастье до последнего вздоха, – видит бог, я принужден был снова взгромоздиться на лошадь, чего бы там моя волынка ни пела и ни сказывала; а всего более досаждало мне, что всадники уверяли, будто я в падении зашиб волынку, того ради она так безбожно и завопила. Итак, кляча моя везла меня вперед равномерной, как *grinim mobile*¹⁰ рысью до самого батькиного двора.

Диковинные воображения и тарабарские вздоры наполнили ум мой и понеже я восседал на таком звере, какого отродясь не видывал, а тех, что меня увозили, почел за железных, то возомнил, что и сам я в подобного железного детину метаморфизироваться должен. Но понеже такого превращения не последовало, то взбрелись мне на ум иные дурачества: я полагал, что сии чужие гости напоследок для того лишь явились, чтобы помочь мне загнать домой овец, поелику ни единую из них не пожрали, а, напротив того, в совершенном согласии и прямой дорогой поспешили ко двору моего батьки. Того ради оглядывался я весьма прилежно, высматривая батьку, не пожелают ли он и matka тотчас выйти нам навстречу с приветливым словом; но тщетно, он и matka, вместе с ними Урселе, которая была единственной возлюбленной дочерью моего батьки, сбежали через заднюю калитку, дали тягу и не захотели тех беспутных гостей ожидать.

¹⁰ Здесь: изначальное движение (*лат.*).

Четвертая глава

Симплициев дом – солдатам награда,

Нигде их разбою не видно преграды.

Хотя и не расположен я вести миролюбивого читателя вслед за той бездельнической ватагой в дом и усадьбу моего батьки, ибо там случится много худого, однако ж добрый порядок моей повести, которую оставляю я любезному потомству, того требует, чтобы поведал я, какие мерзкие и поистине неслыханные свирепости чинились повсюду в нашу немецкую войну, и особливо своим собственным примером свидетельствовал, что таковые напасти часто ниспосланы нам благостным провидением и претворены нам на пользу. Ибо, любезный читатель, кто бы сказал мне, что есть на небе Бог, когда бы воины не разорили дом моего батьки и через такое пленение не принудили меня пойти к людям, кои преподали мне надлежащее наставление? До того мнил я и не мог вообразить себе иначе, что мой батька, matka, Урселе и прочая домашняя челядь только и живут одни на земле, понеже иного какого человека я не видывал и о другом человеческом жилье, кроме описанной перед тем шляхетской резиденции, где я тогда дневал и ночевал, не ведал.

Но вскорости узнал я, каково происхождение людей на сем свете, что нет у них постоянного пристанища, а весьма часто, прежде всякого чаяния, принуждены они покинуть сию юдоль; был я тогда только по образу своему человек и по имени христианин, а в остальном совершенно скот. Однако ж всевышний, взирая милостивым оком на мою простоту, пожелал привести меня вместе к познанию его и самого себя. И хотя были у него к тому тысячи различных путей, нет сомнения, восхотел избрать тот, на коем батька мой и matka в назидание другим за нерадивое воспитание должным образом наказаны будут.

Первое, что учинили и предприняли те всадники в расписанных копотью покоях моего батьки, было то, что они поставили там лошадей; после чего всяк приступил к особливым трудам, кои все означали сущую погибель и разорение. Ибо в то время, как некоторые принялись бить скотину, варить и жарить, так что казалось, будто готовится тут веселая пирушка, другие свирепствовали во всем доме и перешарили его сверху донизу, так что не пощадили даже укромный покой, как если бы там было сокрыто само золотое руно Колхиды. Иные увязывали в большие узлы сукна, платья и всяческую рухлядь, как если бы собирались открыть ветошный ряд, а что не положили взять с собою, то ломали и разоряли до основания; иные кололи шпагами стога соломы и сена, как будто мало им было переколоть овец и свиней; иные вытряхивали пух из перин и совали туда сало, сушеное мясо, а также утварь, как будто оттого будет мягче спать. Иные сокрушали окна и печи, как если бы их приход возвещал нескончаемое лето; сминали медную и оловянную посуду, после чего укладывали ее погнутой и покореженной; кровати, столы, стулья и скамьи они все пожгли, хотя на дворе лежало сухих дров довольно. Напоследок побили все горшки и миски, либо оттого, что с большей охотой ели они жаркое, либо намеревались тут всего одни раз оттрапезовать.

Со служанкой нашей в хлеву поступили таким родом, что она не могла уже оттуда выйти, о чем, по правде, и объявлять зазорно. А работника они связали и положили на землю, всунули ему в рот деревянную пялю да влили ему в глотку полный подойник гнусной навозной жижи, кою называли они «шведский напиток», что, однако ж, не пришлось ему по вкусу и произвело на лицо его удивительные корчи, через то принудили они его свести некоторых из них в иное

место, где взяли людей и скот и пригнали на наш двор, а были там посреди них мой батька, моя matka и наша Урселе.

Тут стали они отвинчивать кремни от пистолетов и на их место ввертывать пальцы мужиков и так пытали бедняг, как если бы хотели сжечь ведьму, понеже одного из тех пойманных мужиков уже засовали в печь и развели под ним огонь, хотя он им еще ни в чем не признался. Другому обвязали голову веревкой и так зачали крутить палкой ту веревку, что у него изо рта, носа и ушей кровь захлестала. Одним словом, у каждого из них была своя хитрость, как мучить крестьян, и каждый мужик имел свою отличную от других муку. Однако ж батька, по тогдашнему моему разумению, был всех счастливее, понеже он смеючись признавался во всем, что иные принуждены были сказать с болью и жалостливыми воплями, и такая честь случилась ему, нет сомнения, для того, что он был хозяин, ибо они связали его по рукам и ногам так, что он не мог пошевелиться, посадили к огню и натерли ему подошвы мокрой солью, а наша старая коза ее тотчас же слизывала, через что происходило щекотание, так что он, казалось, мог лопнуть со смеху. Сие показалось мне столь приятным и любезным (понеже я моего батьку в таком долгом смехе никогда не видывал и не слыхивал), так что и я ради доброго кумпанства либо оттого, что не слишком много разумел, принужден был от всего сердца рассмеяться. С тем смехом признал он свою вину и объявил сокровище, где золота, жемчуга, драгоценных камней было больше, чем можно было надеяться сыскать у мужика. О захваченных женах, дочерях и служанках не могу особливо ничего сообщить, ибо воины не допускали меня смотреть, как они с ними поступали. Однако ж я довольно знаю, как и где в различных уголках были слышны ужасающие вопли, почитай что и моя matka, и наша Урселе не избежали той общей участи. Посреди такого несчастья вертел я жаркое на роженьке и ни о чем не заботился, ибо я еще всего того надлежащим образом не разумел; пополудни я помогал поить лошадей, каким средством и привелось мне попасть в хлев к нашей служанке, которая была диковинным образом вся растрепана; я не узнал ее, она же сказала мне хворым голосом: «Малой, удирай-ко отсюда, а не то заберут тебя те всадники, норочи как бы уйти, видишь, как тут худо». Сверх того не смогла она ничего сказать.

Пятая глава

Симплиций в лесу, что малая птаха,

Колотится сердце его от страха

И тут только впервые размыслил я о том бедственном положении, какое предстало моему взору, и стал обдумывать, как бы это мне половчее выкрутиться и удрать. А куда? Мой скудный ум не пришел мне на помощь. Однако ж к вечеру мне удалось сбежать в лес, а милую мою волынку я не покинул даже в беде и крайности. А что ж теперь? Поелику дороги и лес столь же мало были мне знаемы, как и путь через Ледяное море от Новой Земли до Китая. Непроглядная ночь укрыла меня, оберегая от опасности, но, по моему темному разумению, она не была достаточно темною; а посему схоронился я в чаще кустарников, куда доносились до меня возгласы пытаемых крестьян и пение соловьев, каковые птички, невзирая на крестьян, коих тоже подчас зовут птицами, не дарили их сочувствием, и сладостное то пение не смолкало несчастья их ради; посему и я прилег на бок и безмятежно заснул. А едва утренняя звезда возглась на востоке, увидел я дом батьки, охваченный пламенем, и не было никого, кто бы желал потушить пожар. Я отправился туда в надежде повстречать кого-либо с нашего двора, но тотчас же пять всадников заприметили меня и закричали: «Беги сюда, малец, а то, черт подери, пальнем так, что у тебя пар из глотки пойдет». Я же остолбенел и стоял разинув рот, ибо не знал, что тем всадникам было надобно, и как я смотрел на них, ровно кот на новые ворота, однако ж они не могли перейти ко мне по болоту и, нет сомнения, были оттого в превеликой досаде, и тогда один из них разрядил в меня свой карабин; внезапный огонь и неожиданный треск, повторенный многократным эхом, стали оттого еще ужаснее, чем я так настраивался, ибо никогда ничего похожего не видывал и не слыхивал, что тотчас же упал на землю, растянулся во весь рост и не мог шелохнуться от страха; хотя всадники ускакали своей дорогой и, нет сомнения, почли меня за мертвого, во весь тот день я не собрался с духом, чтоб приподняться или часом оглядеться по сторонам. А когда снова застигла меня ночь, я встал и пошел лесом, покуда не приметил вдалеке мерцания гнилого дерева, отчего напал на меня новый страх; того ради я опрометью бросился назад и шел столь долго, покуда вновь не завидел мерцающие гнилушки, и так же обратился от них в бегство и подобным образом провел ночь, кидаясь туда и сюда от одного гнилого дерева до другого. Наконец любезное утро поспешило ко мне на помощь, повелев деревьям не смущать меня в его присутствии; однако ж от этого весьма мало было мне пользы, ибо сердце мое трепетало в великой тоске и робости, ноги подкашивались от ослабления, пустой желудок был набит голодом, рот полон жаждой, мозг дурацкими воображениями, а в глазах стоял сон.

Невзирая на то, я шел все вперед, однако ж не ведая куда. Чем глубже я заходил в лес, тем более удалялся от людей: тогда претерпел и почувствовал я (неприметно для себя) действия неразумия и неведения; и безрассудный зверь на моем месте скорее нашел бы, как ему подлежит поступить для сохранения жизни. Однако же я был столь смышлен, что когда ночь опять застигла меня, то залез в дупло, прилежно схоронил любезную мою волынку и так приуготовил себя ко сну.

Шестая глава

Симплиций в лесу отшельника слышит,

Повергся в ужас, сам еле дышит

Едва приутопил я себя ко сну, достиг моего слуха глас: «О неизреченная любовь к неблагодарным людям! О единственная моя отрада, упование мое, сокровище мое и бог мой!», а также иные подобные слова, чего не мог я ни запомнить, ни уразуметь. Такие речи по справедливости должны были доброго христианина, который бы оказался в тех обстоятельствах, в коих я находился, ободрить, развеселить и утешить. Однако ж, о простота и невежество! То был для меня дремучий лес и невразумительный язык, какого я не токмо не мог постичь, но и от такой его странности пришел в трепет. А когда услышал я, что говоривший сие утолит голод и жажду, надоумил меня нестерпимый голод и едва не сохшийся от недостатка пищи желудок пригласить самого себя к столу; того ради собрался я с духом и отважился вылезти из дупла и приблизиться к тому гласу. Тут приметил я человека рослого, у коего предлинные черные волосы, подернутые сединой, спадали ниже плеч в великом беспорядке; борода у него всклокочена и кругла, почти как швейцарский сыр. Лик изжелта-бледен и худ, однако ж довольно приятен; долгий его кафтан покрыт превеликим множеством различных заплат, насаженных одна на другую, а шея и стан обвиты тяжелой железной цепью, ровно как у святого Вильгельма, впрочем, вид его в моих глазах был столь гнусен и устрашителен, что я задрожал, как мокрый пес. Но что умножило мой страх, так это распятие, примерно в шесть футов длины, которое прижимал он ко груди, и так как в уме своем не имел я о нем никакого понятия, то не мог иного возмнить, кроме того, что седой этот старик, нет сомнения, волк, о ком мне незадолго перед тем сказывал батька. В таком страхе выскочнул я из дупла с моей волянкой, кою, единственное мое любезное и многоценное сокровище, я спас от всадников; я задудел, подал голос и дал о себе знать весьма зычно, дабы ужасного сего волка прогнать; столь внезапной и необычной музыкой в таком диком месте пустынный поначалу немало был изумлен, нет сомнения, полагая, что явилось ему бесовское наваждение тревожить его и смущать в благочестивых помыслах, как то случалось с Антонием Великим. Но едва пришел он в себя, тотчас же стал глумиться надо мной, как над своим искусителем, скрывшимся в дупле, куда я снова забрался; да и столь ободрился, что наступал на меня, насмехаясь над врагом рода человеческого. «Эй, эй, – говорил он, – да ты, добрый товарищ, под стать святым без божьего произволения», и много иного, чего я не мог уразуметь, ибо приближение его произвело во мне такой испуг и ужас, что я лишился всех чувств и поник без памяти.

Седьмая глава

Симплиций находит себе кров и пищу,

С отшельником вместе живет, словно нищий

Чьей помощью пришел я в себя, не знаю, но то верно, что, очнувшись, находился я уже не в дупле и голова моя лежала у старика на коленях, а ворот куртки был отстегнут. Когда я пришел в себя, то, видя пустынника в такой к себе близости, поднял немилосердный вопль, словно он в ту самую минуту собирался вырвать у меня из груди сердце. Он же, напротив, говорил: «Сын мой, молчи, я не причиню тебе зла, успокойся», – и многое другое. Но чем более утешал он меня и ласкал, тем отчаяннее я вопил: «О, ты сожрешь меня! Ты сожрешь меня! Ты волк и хочешь меня сожрать!» – «Вестимо же нет, – сказал он, – успокойся, я не съем тебя». Подобное барахтанье и ужасающий вой продолжались еще долго, покуда я не позволил отвести себя в хижину, где сама бедность была гофмейстером, голод поваром, а недостаток во всем кухмистером. Там желудок мой усладился овощами и глотком воды, а помраченный дух мой под утешительной лаской старца прояснился и воспрянул, того ради уступил я сладкому побуждению ко сну, отдавая долг натуре. Отшельник, приметя мою нужду, уступил мне свое место в хижине, ибо улечься там мог всего один человек. Около полуночи пробудился я и услышал следующую песнь, какой несколько времени спустя и сам научился:

Приди, друг ночи, соловей,
Утешь нас песнею своей!
Пой, милый, веселее!
Воспой Творца на небесах,
Уснули птицы на древах,
Один ты всех бодрее!
Громкой трелью
Грянь над кельей, пой свирелью
Славу многу
Богу в небе, в вышних Богу!
Хоть солнца луч погас давно,
По нам и ночью петть вольно,
И тьма нам не помеха!
Восславить Бога средь щедрот
И им ниспосланных доброт —
Отрада и утеха.
Громкой трелью
Грянь над кельей, пой свирелью
Славу многу
Богу в небе, в вышних Богу!
Пой нежно, как поют в раю.
Подхватит эхо песнь твою —
В ней неземная сладость.
Кто бренной жизнью утомлен,

Воспрянет, песнею взбодрен,
И внидет в сердце радость!
Громкой трелью
Грянь над кельей, пой свирелью
Славу многу
Богу в небе, в вышних Богу!
Безмолвны звезды в небесах,
Но ведом звездам божий страх —
Во славу Бога светят!
В лесу сова в полночный час,
Хвалы слышав сладкий глас,
Хоть воем, да ответит.
Громкой трелью
Грянь над кельей, пой свирелью
Славу многу
Богу в небе, в вышних Богу!
Так пой, любезный соловей!
Баюкай песнею своей!
Заснем мы сном блаженным!
А поутру зари восход
Отраду сердцу принесет
В лесу преображенном!
Громкой трелью
Грянь над кельей, пой свирелью
Славу многу
Богу в небе, в вышних Богу!

Среди такого продолжающегося пения поистине мнилось мне, как если бы соловей, также сова и далекое эхо соединились с ним в лад, и, когда бы мне довелось услышать утреннюю звезду или умел бы я передать ту мелодию на моей волынке, я ускользнул бы из хижины, дабы подкинуть и свою карту в игру, ибо гармония та казалась мне столь сладостной, но я заснул и пробудился не ранее того, как настал полный день и отшельник, стоя возле меня, говорил: «Вставай, малец, я дам тебе поесть и укажу путь из лесу, чтобы ты вышел к людям и до ночи пришел в ближнюю деревню». — «А что за штука такая люди и деревня?» Он сказал: «Неужто ты никогда не бывал в деревне и даже не ведаешь о том, что такое люди или, иным словом, человеки?» — «Нет, — сказал я, — нигде, как здесь, не был я, но ответь мне, однако, что такое люди, человеки и деревня?» — «Боже милостивый! — вскричал отшельник, — ты в уме или вздурился?» — «Нет, — сказал я, — моей матки и моего батьки мальчонка, вот кто я, и никакой я не Буме, и никакой я не Вздурился». Отшельник изумился тому, со вздохом осенил себя крестным знаменем и сказал: «Добро! Любезное дитя, по воле божьей решил я наставить тебя лучшему разумению». Засим начались вопросы и ответы, как то откроется в следующей главе.

Восьмая глава

Симплиций в беседе с отшельником сразу

Выводит наружу дурацкий свой разум

Отшельник. Как зовут тебя?

Симплициус. Меня зовут мальчонка.

Отш. Я и впрямь вижу, что ты не девочка, а как звали тебя родители?

Симпл. А у меня не было родителей!

Отш. А кто же тогда дал тебе эту рубашку?

Симпл. А моя матка!

Отш. А как звала тебя твоя матка?

Симпл. Она звала меня мальчонка, а еще плут, осел долгоухий, болван неотесанный, олух нескладный и висельник.

Отш. А кто был муж твоей матери?

Симпл. Никто.

Отш. А с кем спала по ночам твоя матка?

Симпл. С батькой.

Отш. А как звал тебя батька?

Симпл. Он тоже звал меня мальчонка.

Отш. А как звали твоего батьку?

Симпл. Батькой.

Отш. А как кликала его матка?

Симпл. Батькой, а еще хозяином.

Отш. А иначе как она его не прозывала?

Симпл. Да, прозывала.

Отш. Как это?

Симпл. Пентюх, грубиян, нажравшаяся свинья, старый дристан и еще по-иному, когда бушевала.

Отш. Ты совсем невинный простак, когда не знаешь ни имени родителей, ни своего.

Симпл. Да ты ведь тоже не знаешь.

Отш. А ты умеешь молиться?

Симпл. Нет, я давно перестал мочиться в постель.

Отш. Я не о том тебя спрашиваю, а знаешь ты «Отче наш»?

Симпл. Я-то! Знаю!

Отш. Ну, так скажи!

Симпл. Отче наш любезный, иже еси небеси, святися имя, царство твое прииде, воля твоя будет небеси, яко земли, отпусти нам долги, како мы отпускаем должникам, не вводи нас во зло, но избави нас от царства, силы и славы. Во веки аминь!

Отш. А ты ходил когда в церковь молиться всевышнему?

Симпл. Да, я люблю все вишни – лазаю по деревьям и набирал их полную пазуху.

Отш. Я не о вишнях говорю, а о церкви!

Симпл. Ага! Черпкие! Да, ведь это дикие сливы, ладно?

Отш. Ах, все в твоей воле, Господи. Ужели ты ничего не знаешь о вышнем Боге?

Симпл. Да, он стоял у нас в доме наверху над дверями. Матка принесла его с ярманки и прилепила туда.

Отти. Преблагий боже! Днесь вижу я, сколь неизреченна милость и благодать, кому дано познать тебя, и о, сколь ничтожен тот человек, кому не дано этого от тебя. Подай мне, Господи, тако чтить Твое святое имя, дабы я достоин стал возблагодарить Тебя за дарованную мне великую милость, с толикою ревностью, сколь велика была щедрость Твоя ниспослать мне ее. Слушай, Симплициус, ибо иначе я не могу тебя назвать, когда ты читаешь «Отче наш», то должен говорить так: «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный даждь нам днесь».

Симпл. Ладно, а еще сыра?

Отти. Ах, любезное дитя, молчи и научайся, сие надобно тебе первее сыра. Ты в самом деле нескладный, как говорила твоя матка. Таким мальчишкам, каков есть ты, не приличествует вовсе перебивать старших, а, напротив того, молчать, слушать и поучаться. Когда бы я точно знал, где живут твои родители, я с охотою отвел бы тебя к ним, дабы так же наставить их, как надлежит воспитывать детей.

Симпл. Я не знаю, куда мне деваться: дом наш сгорел, и матка убежала, и вернулась вместе с Урселе, и батька мой с ними, и девка заболела, и лежала в хлеву, где сказала мне бежать прочь – да во всю прыть.

Отти. А кто же сжег дом?

Симпл. Га! Пришли такие дюжие, железные, сидели на таких штуках, больших, как быки, да без рогов. Эти железные покололи овец, и коров, и свиней, разорили окна и печи. Я тогда и сбежал, а после сгорел дом.

Отти. А где тогда был твой батька?

Симпл. Га! Те железные его привязали, а наша старая коза лизала ему ступни, батька тогда засмеялся и дал тем железным много белых грошей, больших и малых, и другие красивые, желтые, и опричь того такие хорошие блестящие штуки, а еще красивые снизки и на них белые зернышки.

Отти. Когда это случилось?

Симпл. А как мне дали стеречь овец; они еще хотели отнять у меня волынку.

Отти. А когда тебе дали стеречь овец?

Симпл. Али ты не слыхал? А когда те железные пришли, а потом наша лохматая Анна сказала, чтобы я бежал оттуда, а не то волки заберут меня с собой, она так думала о тех, железных, а я и удрал тогда и зашел сюда.

Отти. А теперь ты куда пойдешь?

Симпл. О том, правда, не знаю. Хочу остаться у тебя.

Отти. Удержать тебя здесь нет надобности ни тебе, ни мне. Ешь, потом я отведу тебя к людям.

Симпл. А ты скажи сперва, что за штука такая люди?

Отти. Люди суть человеки, как ты и я; твой батька, твоя матка и ваша Анна суть человеки, и коли их много вкупе, то зовут их тогда люди.

Симпл. Ага!

Отти. Теперь иди и ешь.

Таково было наше собеседование, во время коего отшельник нередко взирал на меня с глубочайшими вздохами, – не знаю, происходило ли сие оттого, что он преисполнен был великим состраданием к моей чрезвычайной простоте и глупому неведению, или по причине, о какой я узнал лишь по прошествии нескольких лет.

Девятая глава

Симплиций становится христианином,

А жил он доселе скотина скотиной

Тут начал я есть и перестал лопотать, что продолжалось не долее, пока я не утолил голод и старец не сказал мне, что надо уходить. Тогда я стал выискивать нежнейшие слова, какие только могла подсказать мне мужицкая моя грубость, дабы склонить отшельника, чтобы он оставил меня у себя. И хотя мое досадительное присутствие было ему в тягость, однако ж он определил терпеть меня при себе более для того, чтобы наставить меня в христианской вере, нежели затем, чтобы я услужил ему в старости. Великая была ему забота, что в столь нежном возрасте, каков был мой, долгое время никак невозможно снести суровую и весьма трудную жизнь.

Некоторое время, примерно три недели, длилось мое испытание, как раз в ту пору, когда святая Гертруда хозяйничала на полях, так что и я в том ремесле употреблен был. Я вел себя столь исправно, что весьма угодил отшельнику, хотя и не самой работой, – к чему я и до того был приучен, – а тем, что он видел, как я с тою же ревностью внемлю его наставлениям, с какой являю чистую табулу и мягкий воск моего сердца, готового к восприятию оных. По этой причине стал он с еще большим усердием наставлять меня добру. Поначалу преподавал он мне отпадение Люцифера, затем перешел в рай, и, когда мы вместе с нашими прародителями были оттуда исторгнуты, он, пройдя через закон Моисеев, научил меня посредством десяти заповедей господних с их толкованием (о чем он сказал: «Поистине есть то путеводная нить к постижению воли божьей»), и что оной надо руководствоваться, дабы вести жизнь, угодную Богу) различать добродетели от пороков, творить добро и отвращаться от зла. Наконец приступил он к Евангелию и поведал мне о рождении, страданиях, смерти и воскресении Иисуса Христа и заключил Страшным судом, представив моим очам рай и ад, все с приличествующими обстоятельствами и подробностями, однако ж не чрезмерными; но, как ему сдавалось, я наилучшим образом смогу все понять и уразуметь. Справившись с одной материей, он переходил на другую и умел, порою с великим терпением, столь искусно направлять мои вопросы и так со мной поступать, что лучшим образом и нельзя было все сие в меня втемяшить. Жизнь и речи его были для меня беспрестанной проповедью, которая ум мой, кой был не столь уж тяжел и неповоротлив, по божьей милости не оставила без возвращенного плода, понеже все, что должно знать христианину, я не только уразумел в помянутые три недели, но и воспылал такую любовь к моему наставнику и его наставлениям, что не мог оттого спать по ночам.

С того времени неоднократно размышлял я о том и нашел, что Aristot., lib. 3. de anima изрядно заключает, уподобляя душу человеческую доске, на коей можно начертать разного рода письмена, и что сие преблагим творцом для того учинено, дабы оная доска через прилежное надавливание и упражнение была покрыта рисунками и доведена до полного перфекта и совершенства. Отсюда и Commentator Averroes lib. 2. de anima (когда философ говорит, что способность ума, сиречь интеллектус, не что иное есть, как *poteutia*¹¹, коя ничем *in actum*¹² про-

¹¹ Сила (*лат.*).

¹² В действие (*лат.*).

изведена быть не может, кроме как чрез scientia¹³, а сие значит, что человеческий разум объять все предметы способен, однако же не может достичь того без прилежного в том упражнении) то непреложное заключение выводит, что она scientia, или упражнение, и есть совершенствование, или perfectio¹⁴, души, которая сама собой ничего того в себе не имеет. Сие подтверждает Cicero, lib. 2. Tuscul. quaest., уподобляя душу человека без учения, науки и упражнения такому полю, которое, хотя от природы и плодородно, однако когда не обработано и не засеяно, то и не приносит плодов.

Все сие подтверждаю я собственным своим примером, ибо то, что я скоро мог воспринять все преподанное мне благочестивым отшельником, произошло оттого, что ему довелось найти ровную табулу моей души совершенно чистой, без единого оттиснутого на ней изображения, а иначе произвести подобное нельзя было без помехи. Однако ж как моя совершенная противу других людей простота все еще во мне оставалась, то (понеже ни ему, ни мне настоящее мое имя было неведомо) прозвал он меня Симплициусом.

Также от него научился я творить молитву; и, когда он мое упрямое намерение не расставаться с ним решил удовольствоваться, построили мы из земли, ветвей и сучьев для меня хижину, наподобие той, что была у него самого, сложенную почти как в поле палатки у мушкетеров или, лучше сказать, в некоторых местах шалаши на огородах у крестьян, правда, столь низкую, что я едва мог в ней сидеть, не согнувшись. Постель моя состояла из сухой листвы и сена и занимала как раз всю хижину, так что я не знаю, назвать ли мне подобное жилище или нору крытым ложем или же хижинюю.

¹³ Науку (*лат.*).

¹⁴ Образование, совершенствование (*лат.*).

Десятая глава

Симплиций писать и читать обучен,

В мыслях с пустыней вовек неразлучен

Когда впервые увидел я отшельника за чтением Библии, то никак не мог вообразить себе, с кем же он ведет такую тайную и, по моему рассуждению, весьма важную беседу. Я неотменно видел движения его губ, а также слышал бормотание, тогда как супротив него я никого, кто бы мог говорить с ним, не усмотрел и не почувал, и хотя ничего не знал я о чтении и письме, однако ж по его глазам приметил, что он какое-то с одной книгой имел дело. Я заприметил сие и после того, как отшельник отложил книгу, подобрался к ней, и, когда раскрыл как раз на первой главе Книги Нова, тотчас представилась моим очам стоящая там фигура, искусно резанная по дереву и притом весьма красиво раскрашенная. По моему простому разумению, я стал вопрошать сии диковинные картинки о совсем нескладных вещах. Но понеже на то не последовало от них ответа, то впал в нетерпение и в то самое время, когда отшельник неслышно стал за моей спиной, говорил с ними так: «Эй вы, малые нерадеи, али у вас языки поотсохли? Разве вы не довольно болтали с моим отцом (ибо так тогда должен был я звать отшельника)? Я-то вижу, что вы угнали у бедного батьки овец и подожгли дом. Ну погодите! Я затушу тот огонь и вас обуздаю, чтобы не было больше от вас вреда». С тем поднялся я, дабы пойти за водой, ибо мнилось мне, что в том была нужда. «Куда, Симплициус?» – спросил внезапно отшельник, ибо я не знал, что он стоит позади меня. «Отец, – сказал я, – да ведь это воины, у них овцы, и они вознамерились угнать их прочь, они забрали беднягу, с которым ты давеча говорил. Вот горит полымем его дом, и когда я его скоро не затушу, то сгорит вовсе». С такими словами указал я ему перстом на то, что видел. «Постой, – сказал отшельник, – в том еще нет беды». Я отвечал с присущей мне учтивостью: «Аль ты ослеп? Погляди-ко, чтоб они не угнали овец, а я воды притащу». – «Полно, – сказал отшельник, – изображения сии не живут живой жизнью, а только затем сделаны, чтобы давным-давно приключившиеся события представить очам нашим». Я отвечал: «А ведь ты давеча говорил с ними, отчего же они тогда не живут?»

Отшельник принужден был противу своей воли и обычая на такую ребяческую мою глупость и глупое ребячество рассмеяться и сказал: «Любезное дитя! Изображения сии говорить не умеют. А что до их существа и деяний, то узнаю я о том по черным этим знакам, что называется чтением, и когда я таким образом читаю, то мнится тебе, что я говорю с изображениями, однако ж того нет». Я отвечал: «Когда я такой же человек, что и ты, то должно и мне уметь видеть по тем черным строкам, что ты умеешь. Как мне в тот твой разговор вступить? Любезный отец! Наставь меня по справедливости, как мне разуметь сие?» На что отвечал он: «Добро, сын мой! Я научу тебя с оными изображениями беседовать столь же внятно, как и я сам, и ты будешь разуметь, что они означают. Однако ж на то надобно время, к коему от меня терпение, а от тебя прилежание приложатся». После того начертал он на березовой коре для меня азбуку, подобную печатной, и когда я узнал буквы, то стал учиться их складывать, то есть читать, и под конец писать лучше, чем то умел сам отшельник, ибо я все выводил по-печатному.

Одиннадцатая глава

Симплиция повесть о жизни в пустыне,

Что им служило столом и периной

Около двух лет, покуда не умер отшельник, и немного долее полугода после его смерти пробыл я в том лесу; того ради полагаю уместным поведать пытливому читателю, который частенько и о малейших вещах непременно все знать желает, наши труды, наше житье-бытье и прохождение времени.

Пищей служили нам различные огородные растения, репа, капуста, бобы, горох, чечевица, просо и тому подобное; также не пренебрегали мы буковыми орехами, дикими яблоками, грушами, вишней, да и желуди нередко утоляли наш голод. Хлеб, или, вернее сказать, лепешки, пекли мы из толченой кукурузы в горячей золе. Зимой ловили птиц в силки и тенета; весной и летом посылал нам Бог птенчиков прямо из гнезда. Нередко довольствовались мы улитками и лягушками; также были охочи ловить удочками и вершами рыбу, ибо неподалеку от нашего жилища протекал ручей, где в изобилии водились рыба и раки, все сие должно было конвоировать грубые овощи в нашу утробу. Однажды мы поймали молодого кабана, коего посадили в загон, взрастили на буковых орехах и желудях, откормили и напоследок съели, ибо отшельник знал, что не может быть греха, когда вкушают то, что Господь Бог сотворил на потребу человеческого рода и предназначил к такому концу. Соли потребляли мы мало, а пряностей и вовсе никаких, дабы не пробуждать в себе охоты к питью, так как у нас не было винного погреба. Необходимую нам соль давал священник, живший примерно в трех милях от нас, о котором мне еще много придется говорить.

А что до утвари, то было ее у нас довольно; ибо имели мы лопату, кирку, топор, топорик и еще железный котелок для варева, кои все, правда, не принадлежали нам, а были взяты у сказанного священника. У каждого было по стершемуся тупому ножу; они-то и составляли все наше имение, а oprичь того ничего у нас не было. Нам были не надобны миски, тарелки, ложки, вилки, горшки, сковороды, решетки для жаркого, роженьки, солоницы или иная какая столовая и кухонная посуда, ибо наш котелок служил нам миской, а руки заменяли вилки и ложки. Когда же мы испытывали жажду, то утоляли ее из родничка с помощью тростинки или припадая к воде, как воины Гедеона. А что до всякой там одежды, шерсти, шелку, хлопчатой бумаги и полотна, потребного для постели, скатертей и обоев, то у нас не было ничего, кроме того, что носили на себе, ибо полагали, у нас всего вдоволь, коли можем укрыться от дождя и холода. Впрочем, мы не наблюдали в домоводстве нашем особых правил или порядка, кроме как в дни воскресные и праздничные, когда собирались в путь с полуночи, дабы пораньше и ни от кого не замеченными прийти к помянутому священнику в церковь, что стояла в стороне от деревни, и ждать начала богослужения. Там забирались мы на разбитый орган, с какого места отлично могли видеть как алтарь, так и кафедру. Когда впервые увидел я священника, всходящего на кафедру, то спросил отшельника: «Чего ради он залез в этот большой ушат?» После отпускной молитвы мы так же тайком, как и приходили, возвращались домой и, после того, как усталые телом и едва волоча ноги достигали нашего жилища, принимали скудную пищу с великою жадностью; остальное время отшельник проводил в молитве и наставлял меня божественным предметам.

В будни делали мы то, в чем сильнейшая была нужда, как случалось и требовалось по времени года и нашим обстоятельствам. То работали мы в саду, то собирали тучную землю по тенистым местам и в дуплах деревьев, дабы заместо навоза удобрить ею наш сад. А то плели корзины или верши, или запасали дрова, ловили рыбу, или заняты были иным каким делом, чтоб не предаваться праздности. И посреди всех таких трудов не оставлял отшельник изрядно поучать меня всему доброму. Меж тем в той суровой жизни научился я переносить голод, жажду, зной, холод и великие труды и всяческие тяготы, а прежде всего был приведен к познанию Бога, как ему истинно служить надлежит, что было самым важным. Правда, любезный мой отшельник не восхотел допустить меня к большему знанию, ибо полагал, что христианину для достижения его назначения и цели довольно и того, когда он молится и работает прилежно; того ради проистекло, что хотя я в духовных материях был нарочито сведущ, изрядно понимал Христову веру и немецкую речь вел столь приятно, как если бы сама Орфография ее выговаривала, однако же оставался прост, как дрозд, и, покидая лес, являл собою несчастнейшего в свете простофилю, такого, что несмышленного щенка не сумел бы провесть.

Двенадцатая глава

Симплициус смерть зрит, какою бывает,

Отшельника тело в земле погребает

Около двух лет провел я таким образом и едва приучил себя к суровому пустынноческому житию, как лучший в свете друг мой, взяв заступ, а мне вручив лопату, повел меня за руку в сад, где мы по каждодневному нашему обыкновению творили молитву. «Ну вот, Симплициус, любезное дитя! – сказал он. – Понеже, слава богу, пришло время оставить мне сей мир, воздать долг натуре и покинуть тебя в сем мире, а наипаче как предвижу я грядущие события твоей жизни и хорошо знаю, что ты недолго пробудешь в пустыне, то хочу укрепить тебя на стезе добродетели и преподавать тебе в назидание единственное наставление, руководствуясь коим как надежным правилом к достижению вечного блаженства должен ты расположить свою жизнь, дабы вкупе со всем сонмом избранных удостоиться в жизни вечной созерцать лице божие».

Сии слова затопили глаза мои, как перед тем вражья выдумка город Филлинген, и были мне столь непереносны, что я их не мог стерпеть, однако ж сказал: «Любезный отче, ужели восхотел ты покинуть меня одного в дремучем лесу, тогда должен ты...» Сверх того не смог я ничего вымолвить, ибо сердечные муки от неизреченной любви, какую я питал к верному моему отцу, так стеснили мне грудь, что я, словно мертвый, поник к его стопам. Он же, напротив, подняв меня, утешал, как только позволяло время и обстоятельства, и вместе с тем укорял меня, спрашивая, уж не вознамерился ли я противиться предначертанию вышнего. «Неужто ты не знаешь, – продолжал он, – что ни небу, ни аду сие не по силам? Так вот, сын мой! Почто же хочешь ты обременять еще мое слабое тело (которое само жаждет покоя)? Вознамерился ли ты принудить меня жить долее в сей юдоли скорби? Ах нет, сын мой, дозвожь мне умереть, понеже и без того ни стенаниями, ни еще менее по собственной охоте не склонить меня остаться долее в сей юдоли, когда я призван отсюда по непреложной воле Господа и днесь с превеликою радостью приуготовляю я себя к тому, чтобы последовать сему повелению Господню. Вместо бесполезных воплей следуй моему последнему наставлению, по коему должен ты час от часу все совершеннее познавать самого себя; и хотя бы достиг ты мафусаиловых лет, не отвращай сердца своего от сего упражнения. Ибо наибольшая часть людей подпадает осуждению вечному по той причине, что не ведали они, кем были и кем могли или должны были сделаться». Засим преподавал он мне неложный совет во всякое время остерегаться худого товарищества, ибо пагуба от него поистине неизреченная. И он привел тому пример и сказал: «Когда ты единую токмо каплю мальвазии пустишь в сосуд с уксусом, то она тотчас претворится в уксус; но когда, взяв столько же уксуса, вольешь в мальвазию, то и он также растворится в ней. Любезный сын, – продолжал он, – паче же всего будь тверд духом; не допускай отвращать тебя от тяжкого креста, который ты возложил на себя в предпринятом тобою похвальном деле; ибо претерпевший до конца спасется. А ежели случится против всякого моего чаяния, что и ты подпадешь человеческой слабости, то не ожесточайся во зле, а тотчас же воспрянь духом в честном покаянии!»

Сей попечительный благочестивый муж преподавал мне только сие немного не оттого, что не знал большего, а потому что полагал, что я по причине моей младости не способен буду уразуметь многое, а, кроме того, немногие слова лучше сохраняются в памяти, нежели

обильные пустые речи, особенно же когда в тех словах заключена сила и важность, отчего по размышлению проистекает от них большая польза, чем от долгой проповеди, которую, едва уразумев, спешат забыть.

Сии три правила: познавать самого себя, убежать худого товарищества и пребывать твердым – почитал сей благочестивый муж добрыми и необходимыми, нет сомнения, потому что и сам упражнялся в них, в чем ему не было неудачи, ибо когда он познал самого себя, то устранился не только от худого товарищества, но и от всего света, в каковом намерении оставался тверд до конца, от коего, нет сомнения, начиналось вечное блаженство; а коим образом, читай о том дальше. Преподав мне вышереченные правила, принялся он собственною своею мотыгою копать собственную свою могилу, в чем я, по его повелению, помогал ему так хорошо, как умел, однако не мог уразуметь, куда сие клонится. Тем временем сказал он мне: «Любезный мой и поистине единственный сын (ибо я не возрастил во славу творца ни единой живой твари, кроме тебя), когда отыдет душа моя во горнии, воздай телу моему последний долг и последнюю честь; закидай меня той же землею, что выкопали мы сегодня из этой ямы». Засим заключил он меня в объятия и, целуя, прижал к груди крепче, чем, судя по виду, было ему по силам. «Любезное дитя, – сказал он, – я предаю тебя под покров вышнего и умру с тем большею радостью, ибо надеюсь, что он примет тебя под свою защиту». Я же, напротив, мог только вопить и сетовать; я повис на его веригах, которые он носил на себе, и хотел удержать его таким образом, чтобы он не покидал меня. Он же молвил: «Сын мой! Оставь меня, мне надо посмотреть, довольно ли велика для меня могила», – сложил затем с себя вериги и платье и лег в могилу, подобно тому когда кто приуготовляет себя ко сну, сказав: «О всеблагий боже! Прими мою душу, кою ты даровал мне. Господи! В руци твоя продаю дух мой!» Засим сомкнул он неслышно уста и смежил очи: я же стоял нем как рыба и не разумел, что его любезная душа навсегда оставила тело, ибо в подобных восхищениях нередко видывал его и прежде.

Я провел, каков был в подобных обстоятельствах мой обычай, несколько часов у могилы в молитве. А когда любезный мой отшельник не восхотел из нее подняться, то спустился к нему в могилу и начал его трясти, целовать и миловать, однако ж в нем не осталось больше жизни, ибо лютая неумолимая смерть похитила у злополучного Симплиция его блаженного сотоварища. Я орошал или, лучше сказать, бальзамировал бездыханное тело моими слезами и долго метался туда и сюда с горестными воплями и рвал на себе волосы, пока наконец не приступил к погребению, причем испускал больше тяжких вздохов, нежели кидал полных лопат; и едва покрыл лицо отшельника, снова сошел в могилу и разгреб землю, чтобы еще раз узреть и облобызать его. Так провел я весь день, покуда не управился со всем и не окончил сих *funeralia*, *ehequias* и *luctus gladiatorios*¹⁵, понеже и без того не было тут ни одра, ни гроба, ни савана, ни свечей, ни носильщиков, ни провожающих, ни даже клириков, которые бы отпели мертвого.

¹⁵ Погребальных обрядов, заупокойных молений... поминальных игр гладиаторов (лат.).

Тринадцатая глава

Симплиций хочет пустыню покинуть,

Где ему привелось едва не погнунуть

Спустя несколько дней, как преставился дорогой мой и любезный отшельник, пошел я к помянутому священнику и поведал ему о смерти моего господина, а также просил у него совета, как мне надлежит теперь поступить. И невзирая на то что он накрепко отсоветовал мне оставаться долее в лесу, указав на очевидную опасность, коей я подвергал себя, однако же я смело пошел по стопам моего предшественника, понеже целое лето соблюдал все то, что набожному монаху соблюдать должно. Но подобно тому как лес меняется со временем, так и скорбь моя об отшельнике, которую я носил в себе, мало-помалу утихла, и жестокая внешняя стужа потушила вдруг внутренний жар твердых моих намерений. Чем более клонился я к непостоянству, тем небрежнее творил молитву, ибо, вместо того чтобы созерцать божественные и духовные предметы, я попустил одолеть меня желанию узреть мир, и как таким образом не было больше никакой пользы от дальнейшего моего пребывания в лесу, то решил я снова пойти к помянутому священнику, дабы услышать, не подаст ли он мне, как было перед тем, совета оставить лес. Для того направился я к нему в деревню, и когда я пришел туда, то увидел, что она охвачена пламенем, ибо в самое то время ватага всадников разграбила ее и подожгла; крестьян же частью порубили, многих прогнали, а некоторых забрали в плен, а среди них и самого священника. О боже правый! Сколь жизнь человеческая полна скорбей и напастей! Едва минет одно несчастье, подоспеет другое. Я нимало не дивлюсь, что языческий философ Тимон Афинский воздвиг множество виселиц, где люди должны были сами надевать себе петли, чтобы через короткое мучение положить конец бедственной своей жизни. Всадники как раз уезжали и уводили священника на веревке, как бедного грешника. Многие кричали: «Пристрелим плута!» Другие же хотели получить от него деньги. Он же простирал руки и молил о пощаде и христианском милосердии, заклиная Страшным судом; однако напрасно, ибо один из них, наскочив, поверг его наземь и вписал ему такой параграфум в голову, что из нее тотчас пошел красный сок, и старик упал наземь и распростерся, вручая душу свою Богу. Прочим полоненным крестьянам было нимало не лучше.

Когда же казалось, что всадники в своей тиранической свирепости вовсе лишились рассудка, поднялась из лесу такая туча ополчившихся крестьян, как если бы кто разорил осиное гнездо. Тут зачали они столь гнусно вопить, столь люто разить и палить, что все волосы мои ошетинились, понеже на такой ярмарке я еще не бывал ни разу; ибо мужики из Шпессерта и Фогельсберга, подобно гессенцам, зауерландцам и шварцвальдцам, мало охочи допускать кого шевелить их навоз. Оттого-то всадники и дали тягу, не только оставив захваченную скотину, но и побросав все мешки и узлы, и пустили таким образом по ветру свою добычу, чтоб самим не стать добычею мужиков; однако часть их попала в лапы к мужикам, и с ними обошлись весьма худо.

Сия потеха едва не лишила меня охоты оставить пустыню и узреть мир, ибо я думал, когда в нем все так ведется, то пустыня куда приятнее! Однако ж восхотел я также услышать, что скажет о том священник. Он же был совсем слаб, немощен и бессилен от принятых ран и ушибов; но все же сказал, что не может подать мне ни совета, ни помощи, ибо впал сам в такую нужду, что принужден будет нищенствовать, сыскивать себе пропитание, и ежели я

вознамерился и далее оставаться в лесу, то не могу уповать на его вспоможение, ибо вот перед глазами моими стоят церковь и дом его, объятые пламенем. С тем и отправился я, весьма опечаленный, в лес к моему жилью, и так как на сем пути весьма мало обрел утешения, однако ж тем сильнее укрепился в благочестии и решил в сердце своем никогда не покидать пустыню, а провождать жизнь, подобно моему отшельнику, в созерцании божественных предметов и уже помышлял о том, как бы прожить мне без соли (какую до того уделял мне священник) и совсем обойтись без людей.

Четырнадцатая глава

Симплиций видит, как солдаты-черти

Пятерых мужиков запытали до смерти

Дабы последовать сему решению и стать настоящим пустынножителем, облачился я в оставшуюся после отшельника власяницу и препоясал себя цепями; правда, не ради того, что испытывал в них нужду для умерщвления необузданной моей плоти, но затем, чтоб не только жизнью, но и обличем с ним сравняться, а также чтобы этой одеждой лучше защитить себя от жестокой зимней стужи.

На другой день, как была разграблена и сожжена помянутая деревня, в то самое время, когда сидел я в хижине, творил молитву и поджаривал себе на пропитание морковь, окружило меня сорок или пятьдесят мушкетеров; они, хотя и подивились диковинному обличью моей особы, однако ж пронеслись бурей по моей хижине и со всем тщанием переверостили все до дна в поисках того, чего там не было; ибо ничего-то у меня не водилось, кроме книг, кои все они пошвыряли, раз от них не было им проку. Наконец, когда они меня получше разглядели и по перьям моим приметили, что за никудышную птицу они словили, то легко могли рассудить, что от меня худая пожива. А посему дивились на мою суровую и весьма строгую жизнь и сожалели мою нежную младость, особливо же офицер, который ими командовал; он даже оказал мне честь и потребовал, вместе с тем как бы упрашивая, чтобы я указал ему и его людям дорогу из лесу, где они уже долго блуждали. Я нимало тому не противился и, чтобы поскорее отделаться от неласковых сих гостей, повел их ближайшей дорогою к деревне, где так худо поступили с помянутым священником, понеже, впрочем, иной дороги я и не ведал. Когда вышли мы на опушку, то завидели с десятков крестьян, часть коих была вооружена пищалями, а остальные трудились, что-то закапывая. Мушкетеры напустились на них с криками: «Стой! Стой!» Те же ответствовали им из пищалей. И когда приметили, что солдаты берут верх, то разбежались кто куда, так что усталые мушкетеры ни одного из них не смогли словить. Того ради захотели они откопать то, что зарыли крестьяне. И сие было тем легче произвести, ибо лопаты и заступы лежали тут же рядом, брошенные мужиками. Но едва мушкетеры взмахнули раза два лопатами, как слышали снизу голос, вопивший: «Ах вы, окаянные плуты! Ах вы, преподлые злодеи! Ах вы, проклятущие бездельники! Али вы вздумали, что небо не покарает вас за безбожную вашу жестокость и бесчестные проделки? Э, нет! Немало еще на свете честных ребят, которые так воздадут вам за вашу бесчеловечность, что никто из ваших ближних не будет больше принужден облизывать вам задницы!» Тут стали солдаты переглядываться, ибо не знали, как им поступить. Иные возомнили, что услышали привидение, я же полагал, что грешу. Офицер же их храбро повелел копать дальше. Они тотчас же наткнулись на бочку, разбили ее и нашли в ней детину, у коего не доставало носа и ушей, но он все еще был жив. Как только он немного отудобел и признал некоторых мушкетеров из той ватаги, то поведал, что во вчерашний день, когда несколько солдат из его полка добывали фураж, мужики захватили в полон шестерых из них и не далее, как час тому назад, поставив их в затылок, пятерых застрелили, а так как он стоял шестым и последним, то пуля его не достигла, ибо раньше прошла пять туловищ, а посему они отрезали ему уши и нос, но до того принудили его (s. v.¹⁶)

¹⁶ S. V. (salva venia) – да простит читатель (лат.).

облизать пятерым задницы. А когда он узрел себя в таком поношении от тех, забывших Бога и честь плутов, то, хотя они и были в намерении оставить ему жизнь, осыпал он их самыми наименее полезными словами, какие только мог измыслить, и честил их полным голосом в надежде, что хоть один из них в нетерпеливом гневе наградит его пулею. Но все напрасно; однако когда он их сильно ожесточил, то запихали они его в эту самую бочку и так похоронили заживо, приговаривая, что коли он столь усердно домогается смерти, то желают они, потехи ради, его в том не удовлетворить.

Меж тем, как сей детина жаловался на претерпетое им несчастье, другой отряд пеших солдат пересек лес; они повстречали помянутых мужиков и пятерых захватили в плен, остальных же застрелили. Среди захваченных было четверо, кои незадолго до того так постыдно обошлись с изувеченным рейтаром. Когда оба отряда по окликам признали, что тут свои, то сошлись вместе и вновь выслушали от самого рейтара, что приключилось с ним и его товарищами. Да, тут было на что подивиться, как пытаются и терзают крестьян. Некоторые пожелали тотчас же прикончить их единым махом, а другие говорили: «Э, нет! Надобно сперва хорошенько помучить негодных сих пташек и отплатить им за все то, что они учинили этому рейтару». Меж тем расточали они мушкетами такие удары под ребра, что мужики захаркали кровью. Под конец выступил вперед солдат и сказал: «Господа, понеже все войско опозорено, что над этим бездельником (разумея тут рейтара) пять мужиков столь жестоко надругались, то будет справедливо, когда мы позорное сие пятно смоем и принудим этих плутов по сто раз облизать у рейтаров». Другой возразил: «Сей малый не стоит того, чтобы ему воздать такую честь; не был бы он такой продажной шкурой, то скорее бы согласился тысячу раз принять смерть, чем всем добрым солдатам в поношение свершить столь постыдное дело». Под конец единодушно порешили, что каждый из тех подчищенных мужиков сие самое произведет на десятерых солдатах, каждый раз приговаривая: «Тем самым смываю я и вытираю стыд, кой, по их мнению, приняли солдаты, когда продажная шкура подлизывала нам задницы». А после того как мужики исполнят чистую эту работу, хотели рассудить о том, как поступить с ними далее. Засим перешли они к делу; однако же мужики были столь строптивы, что нельзя их было к тому принудить ни посулом оставить им жизнь, ни различными пытками. Один из солдат отвел пятого мужика, который не был облизан, в сторону и сказал ему: «Ежели ты отречешься от Бога и всех святых его, то я отпущу тебя, куда захочешь». На что мужик отвечал, что он всю свою жизнь не якшался со святыми, да и не водил особого знакомства с Богом и поклялся в том *soleniter*¹⁷, что знать не знает Бога и не желает царствия небесного. На что солдат всадил ему в лоб пулю, отчего, однако ж, было столько же эффекту, как если бы ее попытались вогнать в стальную гору. Тут солдат выхватил палаш и сказал: «Ага, так вот ты какого разбору! Я обещал пустить тебя, куда захочешь; смотри, как я посылаю тебя в ад, когда ты не пожелал в рай», – и с теми словами рассек ему голову до зубов. А когда тот упал, сказал солдат: «Вот как надобно отомщать за себя и карать негодных этих плутов и в сей жизни, и в будущей».

Тем временем прочие солдаты прибрали к рукам четверых оставшихся мужиков, тех, которые были облизаны; они привязали их за руки и за ноги к повалившемуся дереву так ловко, что (s. v.) задницы как раз торчали кверху, после чего содрали с них штаны и, взяв несколько клафтеров твердого фитиля, насадили на него пуговицы и зачали пилить им задницы столь яростно, что из них пошел красный сок. «Так, – говорили они, – надобно вам, плутам, вычищенные задницы подсушить». Мужики, правда, вопили прежалостно, однако ж не было им милости, а солдатам одна потеха, ибо они не переставали пилить, пока кожа и мясо не сошли с костей. А меня они отпустили домой в мою хижину, ибо последний помянутый отряд хорошо знал дорогу. Так я и не знаю, что в конце концов случилось с теми крестьянами.

¹⁷ Торжественно (лат.).

Пятнадцатая глава

Симплиций уснул, не насытивши чрева,

Зрит в сонном виденье пречудное древо

А когда я воротился домой, то увидел, что мое огниво и вся утварь вместе со всем запасом жалкой моей снеди, которую взрастил я на огороде за целое лето и припас на будущую зиму себе на пропитание, все разом исчезло. «Куда деваться?» – подумал я. Тут научила меня нужда Богу молиться. Я собрал весь скудный свой разум, чтобы рассудить, что же мне теперь делать и как поступить. Но как опыт мой в сем весьма был худ и ничтожен, то и не мог я прийти к надлежащему заключению: и лучше всего было, что я предал себя воле божией и возложил на него все упование мое, а не то бы я, нет сомнения, отчаялся и погиб. Сверх того беспрестанно отягощали ум мой пораненный священник и те пятеро столь мерзко распиленных мужиков, коих я в тот день слышал и видел; и я не столько помышлял о съестных припасах и своем пропитании, как о той антипатии, что заложена меж солдат и крестьян; однако по своей дурости много заключить не мог и в то твердо уверовал, что коли они друг друга столь немилосердно преследуют, то беспрестанно существуют на свете два рода людей, а не один от Адама, – дикие и кроткие, как и среди прочих неразумных тварей.

Посреди таких мыслей заснул я в печали и холоде с пустым желудком. Тогда привиделось мне, подобно как во сне, будто все деревья, произраставшие вокруг моего жилища, внезапно изменились и возымели совсем иной вид. На каждой вершине сидело по кавалеру, а сучья заместо листьев убраны были молодцами всякого звания; некоторые из них держали долгие копья, другие мушкеты, пищали, протазаны, знамена, а также барабаны и трубы. Зрелище сие было весьма увеселительно, ибо все в строгом порядке расположилось по рядам и ярусам. Корень же был из незначущих людишек, ремесленников, поденщиков, а большею частью крестьян, и подобных таких, кои тем не менее сообщали тому древу силу и давали ему ее вновь, коль скоро оно теряло ее; и они даже заменяли собою недостающие опавшие листья, себе самим еще на большую пагубу! Также сетовали они на тех, кто стоял на ветвях, притом не облыжно, ибо вся тяжесть того древа покоилась на корнях и давила их такою мерою, что вытягивала из их кошельков все золото, будь оно хоть за семью печатями. А когда оно переставало источаться, то чистили их комиссары скребницами, что прозывают военною экзекуцией, да так, что исторгали у них из груди стоны, из глаз слезы, из-под ногтей кровь, а из костей мозг. Однако ж были среди них люди, коих прозывали пересмешниками; они печаловались о немногом, принимали все с легким сердцем, и даже крест был им не в утешение, а служил для издевки.

Шестнадцатая глава

Симплициус грезит о солдатской доле,

Где младший у старших всегда под неволей

Итак, корпи сего древа обречены были на одни токмо тяготы и сетования, те же, что поместились на нижних сучьях, осуждены с великим усердием сносить и претерпевать великие труды, лишения и невзгоды, однако были они завсегда весельше первых, а сверх того непокорливы, жестоки, по большей части безбожны и во всякий час составляли нестерпимое для корней бремя. К сему суть вирши:

Холод и зной, бедность и труд,
Голод терпят, от жажды мрут,
Грабят, насилуют, жгут —
Вот как ландскнехты живут!

Вирши сии тем менее вымышлены, понеже они с делами ландскнехтов весьма согласуются; ибо жрать и упиваться, глад терпеть и от жажды изнывать, таскаться и волочиться, кутить да мутить, в зернь и карты играть, других убивать и самим погибать, смерть приносить и смерть принимать, пытать и пытки претерпевать, гнать и стремглав удирать, страшать и от страху пропадать, разбойничать и от разбоя страдать, грабить и ограбленными бывать, боязнь вселять и в боязнь впадать, в нужду ввергать и нужду сносить, бить и побитыми уходить, и в совокупности одну только пагубу и вред чинить, и паки, и паки себя погублять и повреждать, и таковы все их деяния и самая сущность: и ни зима — ни лето, ни снег — ни лед, ни зной — ни стужа, ни дождь — ни ветер, ни холм — ни лог, ни луг — ни топь, ни рвы, ни ущелья, ни моря, ни вода, ни огонь, ни крепостные валы и стены, ни отец, ни мать, ни брат и сестра, ни ущерб для их телесного здравия, душевного спасения или совести, ни утрата самой жизни, или же царствия небесного, или же иной какой вещи — как она там не зовись — не могут им в том воспрепятствовать. И движутся они в таких подвигах неусыпно вперед, покуда мало-помалу в битвах, осадах, штурмах, походах, а то и на постоях (кои, впрочем, для солдата рай земной, особливо же когда им доведется напасть на жирного мужика) попропадут, повымрут, погинут, попередохнут, исключая тех немногих, кои в старости, ежели они только борзо не нахватают и не наворуют себе, становятся последними побродягами и попрошайками.

Чуть повыше этих бедняг сидели старые травленные жохи, кои многие годы провели в превеликой опасности на нижнем суку, выстояли и обрели счастье уйти на толикую высоту от смерти. По виду они были повальяжнее и поавантажнее, нежели нижние, ибо поднялись на градус выше. Над ними возвышались еще другие, которые и более возвышенные имели воображения, понеже начальствовали над нижними; их прозывали Обломайдубинами, ибо битьем, плевками и бранью начищали они копейщикам спины и головы, а мушкетерам заливали масло за шкуру, чтобы было чем смазывать мушкеты. Выше на стволе сего древа шло гладкое место или коленце без сучьев, обмазанное диковинными материями и странным мылом зависти, так что ни один молодец, будь он даже дворянин, ни мужеством, ни ловкостью, ни наукой не сумеет подняться по стволу, как бы он там — упаси бог! — ни карабкался, ибо отполирован тот ствол ровнее, нежели мраморная колонна или стальное зеркало. Над сим местом сидели те, что со

знаменами; одни были юны, а другие в преклонных годах; юнцов вытянули наверх сватъя да братья, а старики частию взобрались сами либо по серебряной лесенке, кою прозывают Подмазалия, либо на ином каком снаряде, сплетенном для них Фортуною из чужой неудачи. Получше расселись те, что были еще выше, у коих также были свои труды, заботы и напасти, однако ж они наслаждались той корыстью, что кошель у них наилучшим образом был нашпигован тем салом, какое они вырезали ножом, прозываемым ими Контрибуция, из корней оногo древа; а всего статочнее и удобнее было для них, когда являлся комиссар и вытряхал над древом, дабы оно лучше благоденствовало, целую кадку золота, так что они там наверху подхватывали все лучшее и почитай что ничего не оставляли нижним. А посему-то нижние и мерли с голоду чаще, нежели гибли от неприятеля, от каковой опасности высшие, казалось, были уволены. Того ради происходило на сем древе беспрестанное карабкание и копошение, понеже всяк желал красоваться на том верхнем благополучном месте. Однако были там и такие нерадивые и беспутные остолопы, которые не стоили и того расхожего хлеба, что на них уходил; они мало печалились о возвышении, а отправляли свою должность, где приведется. Нижние, коих обуревало честолюбие, вздыхали о падении верхних, дабы засесть на их место, и когда одному из десяти тысяч посчастливится столь высоко забраться, то происходит сие в столь досадительных годах, что ему впору завалиться на печку, а не залечь в поле, дабы отразить неприятеля; а ежели кто исправляет свое дело рачительно и доблестно оказывает себя во всякой опасности, тот облеплен завистью, а то, того и гляди, в дыму непредвиденного несчастного случая лишен чина и самой жизни. Нигде не было такого ожесточения, как на помянутом ровном месте, ибо тот, у кого был стоящий фельдфебель или сержант, неохотно с ним расставался, что, однако, было неминуемо, когда бы его произвели в прапорщики. Того ради заместо старых солдат куда охотнее производили в должности подчищал, камердинеров, подросших пажей, бедных дворянчиков, свойственников или просто подлипал и голодранцев, которые у тех, что заслужили по праву, рвут куски прямо из глотки и сами становятся прапорщиками.

Семнадцатая глава

Симплиций не может взять себе в толк,

Чего ради охотно дворян берут в полк

Сие столь раздосадовало некоего фельдфебеля, что он зачал изрядно ругаться, на что дворянский прихвостень сказал: «Али тебе неведомо, что ныне и повсегда к военной должности определялись благородные особы, кои к сему наиболее способны? От седых бород на войне прок невелик, а то иначе бы на врага можно было послать стадо козлов. Сказано ведь:

Приставлен к стаду юный бык,
Хоть молод, да не шальный.
Пасет он лучше, чем старик,
Годами обветшалый.
И пастуху теперь легко,
Спокойно спит под елкой,
От молодого далеко
Не разбредутся телки.

Скажи-ка, старый хрыч, разве войско не больший имеет респект к офицерам благородного рождения, нежели к тем, кои сами до того были простыми ландскнехтами? А что станется с воинской дисциплиной, когда не будет надлежащего респекту? Ужели не смеет полководец оказать более доверия кавалеру, нежели какому-нибудь мужицкому сыну, который сбежал от плуга отца своего и даже собственным своим родителям добра не желает? Истинный дворянин скорее с честью умрет, чем чрез неверность, побег или иной какой подобный поступок запятнает свой род. Посему и приличествует знати иметь всегда преимущество, как то видно из *leg. honor, dig. de honor*. Иоанн Платеа говорит о том внятно, что при определении к должности надо преимущество давать знатым и по справедливости предпочесть благородных плебеям, да и сие обычно для всякого права и находит подтверждение в Святом писании, ибо глаголет Сирах в главе десятой: „*Beata terra, cuius rex nobilis est*“¹⁸. И сие превосходное свидетельство тому, что знати преимущество иметь подобает. И ежели один из вас добрый солдат, который понюхал пороху и во всякой перепалке отличную являет сноровку, то от этого он еще не способен командовать другими и поступать с надлежащею осмотрительностью, напротив того, дворянство в сей добродетели рождено или с юных лет к ней приобвыкло. Сенека говорит: „*Habet hoc proprium generosus animus, quod concitatur ad honesta, et neminem excelsi ingenii virum humilia delectant et sordida*“, что значит: „Геройский нрав сам по себе имеет то свойство, что ищет славы, точно так же дух возвышенный не благоволит к предметам ничтожным и непотребным“.

Сие и *Faustus Posta* изъясняет в таком двустишии:

Si te rusticitas vilem genuisset agrestis,

¹⁸ «Блаженна страна, царь которой благороден» (лат.).

Nobilitas animi non foret ista tui¹⁹.

Сверх того знать располагает средствами вспомоществовать своим подчиненным деньгами, а порядочный отряд пополнить людьми, не то что крестьянин. Так что и по известной половице, негоже сажать мужика впереди дворянина, и мужики бы весьма заспесивились, ежели бы их так прямо ставили господами, ведь говорится же:

Коль господином стал мужик,
Острей не наточить ножи.

Когда бы крестьяне, подобно знати, по издавна ведущемуся похвальному обычаю завладели военными и другими должностями, то, верно, не скоро бы допустили к ним дворянина; к тому же, хотя вам, солдатам Фортуны (как вас прозывают), частенько желают помочь в достижении высоких почестей, да к тому времени вы уже так подрыхлеете, что когда испытают вас и лучших готовы награждать по заслугам, то берет сомнение, повышать ли вас чином; ибо юный жар охладел и помышляете вы, по крайности, о том, как бы понежить и потешить немощное ваше тело, изнуренное множеством перенесенных превратностей и уже мало пригодное для воинских тягот, а там уж – и пособи Бог тому, кто сражается и добывает себе честь; напротив того, молодой пес куда резвее в охоте, нежели старый лев».

Фельдфебель отвечал: «Какой же дурак захочет тогда служить и подвергать себя очевидной смертельной опасности, ежели он не смеет надеяться через свою отвагу достичь повышения и тем за свою верную службу быть награждену. Черт побери такую войну! Оным манером, так все равно, кто как ведет себя в схватке, кто врага хватает за горло, а кто труса празднует. Не раз слыхивал я от нашего старого полковника, что он не хотел бы держать в полку солдата, который не забил бы себе в голову, что через свою доблесть станет генералом. Весь свет должен признать, что те нации, которые облегчают произвождение простым, но истым солдатам и награждают их храбрость, обыкновенно одерживают славные виктории, что видно на примере турок и персов. К сему сказано:

Лампада светит нам; но пищу дать ей надо.
Иссякнет сок олив, и свет ее потух.
Где плата хороша, там и ландскнехт потух,
Полезет он в огонь, коль ждет его награда».

Дворянский прихвостень отвечал: «Когда приметят честного мужа надлежащих качеств, то уж, конечно, им не пренебрегут, ибо многих ныне находим, кои от плуга, портняжной иглы, сапожничьей колодки и пастушеского посоха взяли за мечи, отличились доблестью и через такую геройскую отвагу и достохвальное бесстрашие воспарили превыше простых дворян прямо в графское и баронское состояние. Кем был имперский полководец Иоганн де Верд? Кем шведский Штальганс? Кем маленький Якоб и Сант Андреас? Немало еще известно им подобных, коих я ради краткости не намерен всех перечислять. Ну а то, что нынешним временам не в диковинку, останется и на будущее: что люди низкого звания; однако ж усердные на войне достигают высоких почестей, как то бывало и в древности. Тамерлан стал могущественным властелином, наводившим страх на вселенную, а до того пас свиней. Агафокл, тиран Сицилии, – сын горшечника; Телефас, возница, стал царем Лидии; отец императора Валентиниана был канатный мастер; Маврикий Каппадокиец – крепостной, а после Тиберия стал импе-

¹⁹ Если бы сельская простота родила тебя столь низменным, то такое благородство не было бы свойственно твоей душе (лат.).

ратором; Иоанн Цимисхий сменил школьную указку на скипетр. Флавий Бописк свидетельствует, что император Боиоз был сыном бедного учителя, Гиперболус, сын Гермидуса, сперва был фонарщиком, а потом князем в Афинах; Юстинус, правивший перед Юстинианом, до того, как стать императором, пас свиней; Гуго Канет, сын мясника, впоследствии король Франции; Писарро также свинопас, а потом маркграф Вест-Индии, бочками меривший золото».

Фельдфебель отвечал: «Все сие слышать мне весьма любо, однако ж вижу я, что все лазейки, через кои могли бы мы достичь того или другого высокого чина, закрыты от нас знатью. Дворян, едва они вылупились на свет, тотчас сажают на такие места, на которые мы и в мыслях посягать не смеем, хотя бы того больше заслужили, нежели иной дворянчик, коего ныне производят в полковники. И подобно тому как среди мужиков гибнет много благородной остроты ума, ибо по недостатку средств они не упражняются в науках, также дряхлеет под своим мушкетом иной добрый солдат, что по справедливости заслужил быть полковником и может оказать полководцу многие полезные услуги».

Восемнадцатая глава

Симплиций в лесу письмоце обретает,

Пустыню затем не к добру покидает

Долее слушать старого сего осла я не захотел, а пожелал ему всего того, на что он сетовал, ибо он частенько лупил бедных солдат, словно собак. И я снова воззрел на деревья, коими вся местность была покрыта, и увидел, как они трепещут и сшибаются друг с другом; тогда сыпались с них градом молодцы, разом треск и падение, вдруг жив и мертв, за единый миг, кто без руки, кто без ноги, а иной без головы. И когда я сие узрел, то возомнилось мне, что совокупные те деревья были единым только деревом, простершим сучья свои над всею Европою, а на вершине его восседал бог войны Марс. И, как я полагал, то дерево могло своею тенью покрыть весь мир; но понеже зависть и злоба, подозрительность и недоброхотство, спесь, гордыня и скупость, а также иные схожие с ними добродетели обдували его, подобно суровым северным ветрам, то казалось оно весьма жиденьким и реденьким, а посему на стволе написаны были следующие вирши:

Могучий дуб от бури надломился
И, сучья потеряв, к погибели склонился.
Когда в усобице на брата брат пойдет,
Весь свет в сумятице вверх дном перевернет.

Пресильный шум вредоносных сих ветров и треск обламываемых сучьев пробудили меня ото сна, и увидел я, что нахожусь один в хижине. А посему начал снова размышлять и раскидывать своим умишком, что же мне надлежит предпринять. Оставаться в лесу было мне никак невозможно, ибо все начисто было унесено, так что я не мог далее себя прокормить; и вокруг только и было, что несколько разбросанных и валявшихся как ни попадя книг. И когда я весь в слезах собирал их снова, призывая в мыслях Господа, да направит Он меня и руководит мною на том пути, коим надлежит мне следовать, то нечаянно обрел письмоце, написанное отшельником еще при жизни, и оно гласило: «Любезный Симплициус, как только найдешь ты сие письмо, тотчас же оставь лес и спасай себя и священника от нынешних бед, ибо он содеял мне много добра. Бог, на коего ты должен всегда взирать с упованием и прилежно ему молиться, приведет тебя к месту, где будет тебе благо. Однако никогда не отвращай взора твоего от Господа и прилежай к тому, чтобы всечасно служить Ему, как если бы ты все еще был со мною в лесу. Пещись и непреложно поступай по сему последнему моему совету и тем спасешься. Vale!»²⁰

Бессчетное число раз оцеловал я письмо и могилу моего отшельника и без дальнейших промедлений отправился в путь искать людей, покуда не найду; и так шел два дня прямою дорою вперед и, где заставала меня ночь, искал дуплистое дерево, чтобы залезть в него на ночлег, а пищу служили мне буковые орешки, которые я собирал дорогою. На третий день вышел я неподалеку от Гельнгаузена в открытое поле; там роскошествовал я, словно на брачном пиру, ибо повсюду лежали тучные снопы, которые крестьяне по счастью для меня не успели сvezти,

²⁰ Прощай! (лат.)

ибо их рассеяла знаменитая битва при Нёрдлингене. В один из этих снопов я и забрался на ночь, ибо стояла жестокая стужа, и утолил голод, вылуцив из колосьев пшеничные зерна, что было для меня деликатнейшим блюдом, ибо ничего подобного я уже давно не едал.

Деятнадцатая глава

Симплициус ищет лучшую долю,

А сам попадает в злую неволю

А когда рассвело, то, подкрепившись снова пшеничными зернами, отправился я первым делом в Гельнгаузен и нашел врата его открытыми, частью погоревшими и, однако, еще наполовину ошанцеванными навозом. Я прошел их, но нигде не заметил ни единой живой души; напротив того, улочки повсюду были усеяны мертвыми телами, причем некоторые были догола раздеты. Бедственное сие зрелище представило очам моим ужасающий *spectaculum*²¹, как то каждый себе вообразить может; по моей простоте, не мог я уразуметь, каким несчастьем это место приведено в такое состояние. Но вскорости я узнал, что имперские войска захватили тут врасплох веймарских и столь жестоко их отделали. Не прошел я по городу самой малости, на два швырка камнем, как уже досыта на все насмотрелся; того ради обратился вспять и вышел через ближайший луг на добрую проезжую дорогу, которая и привела меня к знатной крепости Ганау. Едва только заметил я стражу, то решил дать стрекача, но меня тотчас же настигли два мушкетера, схватили и сволокли в караульню.

Прежде чем приступлю я к рассказу, что случилось со мною далее, должен я описать читателю тогдашнее курioзное мое обличье, ибо платье мое и ухватки были до чрезвычайности странны, диковинны и претительны, так что губернатор даже повелел намалевать меня красками. Во-первых, волосы мои за полтора года ни на греческий, ни на немецкий, ни на французский лад не были ни стрижены, ни причесаны, ни завиты, ни взбиты, а торчали во все стороны в природном своем беспорядке, усыпанные заместо пудры, муки или тупейного порошку (какое дурачество в заводе у щеголей и щеголих) более чем годовалою пылью, с таким изяществом, что выглядывал я из-под них, словно сыч, норовивший укунить или подстергавший мышь. И так как я всегда ходил с непокрытою головою, а волосы от природы были у меня кучерявыми, то приняли такой вид, как если бы я напялил турецкий тюрбан. Да и все прочее одяние с главным тем украшением было согласно; ибо на мне был кафтан отшельника, когда бы только я мог еще его называть кафтаном, коль скоро сукно на первом платье, которое из него кроили, совершенно истлело, и ничего от него не осталось, кроме одной только формы, каковая и являла себя очам из несчетного множества лоскутов различного цвета и всяческих заплаток и наставок, сшитых вместе и насаженных одна на другую. Сверх сего выношенного и многократно чиненного кафтана носил я заместо епанчи власяницу (отпоров рукава и употребив их заместо чулок); тело мое было обвито железными цепями, уложенными крест-накрест на груди и лопатках, очень красиво, как обыкновенно изображают святого Вильгельма, так что я, почитай, был схож с теми, кто побывал в плену у турок и странствует по земле, собирая подаяния на выкуп своих друзей. Башмаки мои были вырезаны из дерева, а завязки к ним сплетены из лыка; а ноги такие красные, как вареные раки, словно на них надели модные испанские чулки или выкрасили фернамбуком. Мнится мне, что попади я тогда к какому-нибудь фигляру, площадному лекарю или бродяге и объяви он меня самоедом или гренландцем, то повстречал бы немало дураков, которые, разжевавшись на меня, оставляли бы по крейцеру. И хотя всякий разумный человек по моему тощему, изголодавшемуся виду и нерадивому платью без труда

²¹ Зрелище (*лат.*).

заклучить мог, что я не сбежал ни с поварни, ни из девичьей, ни со двора какого-нибудь знатного господина, однако я строжайшим образом был допрошен в караульне, и подобно тому как солдаты пялили на меня глаза, так и я таращился на нелепый наряд их офицера, перед коим должен был речь и ответ держать; я не знал, то ли это он, то ли она, ибо волосы и бороду носил он на французский манер; длинные косы висели на обе стороны, словно кобыльи хвосты, бороденка была так прежалостно обкорнана и ободрана, что только и остались под носом торчать несколько волосков, таких коротких, что едва можно было их приметить. Не меньше того повергали меня в сомнение – какого же все-таки он пола – его широченные шаровары, которые представлялись мне скорее женскою юбкою, нежели мужскими штанами. Я помыслил про себя: когда мужеск пол, то должна у него быть настоящая борода, ибо сей шут не столь молод, как хочет то показать. А когда он женск пол, то отчего у старой потаскухи на роже так много щетины? Вестимо, то баба, ибо ни один честной муж не дозволит так непотребно окорнать и изуродовать свою бороду; ибо даже козлы, ежели им подрежут бороды, от превеликой стыдливости не пристають к чужому стаду. А посему пребывав в сомнении и не ведал, что ныне пошла такая мода, решил, что то мужчина и женщина в едином лице.

Сей женомуж, или мужежен, как он мне мнился, велел меня всего обыскать, однако ж ничего не нашли, одну только книжицу на бересте, куда я вписывал каждодневные свои молитвы и куда была также положена цидулка, оставленная мне на прощание благочестивым отшельником, как о том сообщалось в предыдущей главе. Сию книжицу он отобрал у меня, но так как я ни за что не хотел с нею расстаться, то пал ему в ноги, обхватил его колени и сказал: «Ах, любезный мой гермафродит, оставь мне мой молитвенник». – «Ты дурень, – отвечивал он, – какого черта ты взял, что я зовусь Германом?» Затем повелел он двум солдатам отвести меня к губернатору, передав им и сказанную книжицу, понеже сей фантаст, как я тотчас приметил, сам ни читать, ни писать не разумел.

Итак, меня отвели в город, и всяк бежал за мною следом не иначе, как если бы везли напоказ морское чудо; и подобно тому как всяк хотел получше меня увидеть и точнейшим образом рассмотреть диковинную мою фигуру, так каждый и судил обо мне особливо. Иные почитали меня шпионом, другие безумцем, а некоторые дикарем, а то и призраком, привидением и еще невесть каким чудом, означающим что-нибудь особое. Были и такие, что приняли меня за дурня; и они-то, пожалуй, и впрямь попали бы в цель, когда я ничего не знал бы о преблагом Боге.

Двадцатая глава

Симплиций понуро шагает в тюрьму,

По счастью, священник попался ему

Когда я был приведен к губернатору, то спросил он меня, откуда я пришел. Я же ответил, что не знаю. Он спросил далее: «А куда ты путь держишь?» Я же опять ответил: «Не знаю». – «Какого же ты беса знаешь? – воскликнул он. – Что у тебя за промысел?» Я отвечал, как и прежде, что не знаю. Он спросил: «А где твой дом?», и когда я снова ответил, что не знаю, то переменился в лице, только вот я не понял, от ярости или удивления. Но как всякий имеет обыкновение подозревать недоброе, особливо же вблизи неприятеля, который только что, как было сказано, прошлой ночью овладел Гельнгаузеном и истребил там полк драгун, то запала ему в ум та же мысль, как и другим, которые почли меня предателем и лазутчиком, а посему приказал он меня обыскать. А когда он узнал от солдат, которые меня к нему привели, что сие уже было произведено и при мне ничего не найдено, кроме некоей книжицы, каковая ему тотчас была представлена, и он, прочитав в ней несколько строк, спросил, кто мне ее дал. Я же ответил, что она с самого начала была моею, ибо я сам ее смастерил и переписал. Он спросил, почему именно на бересте. Я отвечал, что кора от других деревьев к сему непригодна. «Ты бездельник, – сказал он, – я спрашиваю, чего ради ты не писал на бумаге?» – «Эва, – ответил я, – да ведь бумаги-то у нас в лесу не было». Губернатор спросил: «Где, в каком это лесу?» Я же снова ответил на старый лад, что не знаю.

Тогда губернатор обратился к нескольким офицерам, которые его дожидались, и сказал: «Либо он превеликий плут, либо вовсе дурень. Хотя дураком он быть не должен, коли так пишет». И меж тем, говоря сие, столь усердно листал книжицу, чтобы показать мой почерк, что из нее выпало письмецо отшельника. Губернатор велел его поднять; я же побледнел, ибо оно было величайшим моим сокровищем и святынею, что губернатор отлично приметил, и оттого еще больше возымел подозрение, что тут не без предательства, особливо же когда раскрыл письмо и прочел; тогда он сказал: «Я знавал этот почерк и знаю, что это рука хорошо мне известного офицера, только вот не припомню которого». Также и содержание письма показалось ему весьма странным и невразумительным, ибо он сказал: «Сие, нет сомнения, условленная речь, которую никто понять не может, кроме тех, кто о ней условился». Меня же он спросил, как звать, и как только я ответил: «Симплициус», то сказал: «Да, да, ты и впрямь изрядное зелье! Убрать его с глаз долой, заковать по рукам и ногам в кандалы, чтобы повытянуть из него потом что-нибудь другое». Итак, отправились со мною оба помянутых выше солдата к новому, уготованному для меня убежищу, спрячь в темницу, и препоручили меня смотрителю, который, согласно приказу, украсил мои руки и ноги железными браслетами и цепями, как если бы мне недовольно было тех, коими я уже препоясал свое тело.

Сего начала, коим приветствовал меня мир, было недовольно, ибо вскорости пришли палач и помощники профоса с ужасающими орудиями пыток, кои, невзирая на то, что я уповал на свою невиновность, прежде всего усугубили бедственное мое положение. «О боже! – сказал я самому себе. – Поделом мне сие! Симплициус того ради ушел в мир, оставив служение Богу, дабы сей монстр христианства достойную принял награду, которую заслужил своим безрассудством. О ты, злополучный Симплициус! Куда заведет тебя твоя неблагодарность? Смотри, едва Бог вразумил тебя к познанию Его и служению Ему, как убегаешь ты от сего служения и обра-

щаешься к Нему спиною! Разве не было у тебя вдоволь желудей и стручков, чтобы, питаясь ими, невозбранно служить создателю своему? Разве не знал ты, что твой праведный отшельник и наставник бежал от мира и избрал себе пустыню? О безглавый чурбан! Ты покинул пустыню в надежде удовлетворить постыдную свою страсть узреть мир. Но вот смотри, когда мнил ты, что будешь усладить взор свой, принужден ты в опасном сем лабиринте пропасть и погибнуть. Разве ты, неразумный простак, не мог наперед помыслить, что покойный твой предшественник не променял бы радостей мира на суровую жизнь в пустыне, когда чаял бы в нем достичь истинного мира, надежного покоя и вечного блаженства? О, бедный Симплициус! Теперь ступай и прими награду за тщеславные свои помыслы и дерзостное сумасбродство! И не смеешь ты ни сетовать на оказанную тебе несправедливость, ни утешаться своею невиновностию, ибо сам себе ты стал палачом и поспешил на сретенье уготованной тебе смерти и сам накликал себе предстоящее несчастье!» Так пенял я на самого себя, молил Бога о прощении и предавал Ему свою душу.

Меж тем приблизились мы к воровской башне, и когда нужда особо велика, то и помощь близка. Ибо когда я, окруженный стражниками, при великом стечении народа стоял перед темницею, дожидаясь, когда ее отворят и введут меня туда, то и священник, чья деревня недавно была разграблена и сожжена, захотел поглядеть, что тут происходит (ибо и он сам недавно был взят под стражу). И когда он выглянул в окошко и завидел меня, то закричал во все горло: «О Симплициус! Ты ли это?» А когда я услышал и увидел его, то иначе не мог, как воздеть к нему руки и завопить: «Отче! Отче! Отче!» Он же справился, что я натворил. Я отвечал, что не знаю; верно, привели меня сюда за то, что я убежал из лесу. А когда он узнал от стоявших вокруг, что меня принимают за лазутчика, то попросил повременить со мною, покуда он не уведомит о моих обстоятельствах губернатора, ибо сие может послужить равно как моему, так и его освобождению и избавить от кары, грозящей нам обоим, ибо он знает меня лучше, нежели кто другой на свете.

Двадцать первая глава

Симплициус после тяжких невзгод

Нечаянно зажил среди важных господ

Ему дозволили пойти к губернатору, а по прошествии получаса потребовали также и меня и отвели в людскую, где уже ожидали двое портных, сапожник с башмаками, торговец со шляпами и чулками и еще купец с различным платьем, чтобы поскорее меня приодеть. Тут со夫лекли с меня мой до лохмотьев изношенный и повсюду залатанный пестрыми лоскутами кафтан вместе с цепями и власяницею, чтобы портной мог снять с меня надлежащую мерку. Потом явился цирюльник с едким щелоком и благовонным мылом; но едва только он собрался показать на мне свое искусство, как вышел новый приказ, повергший меня в жестокий страх, ибо гласил, что должен я немедля сызнова облачиться в старое свое одеяние. Однако ж в том не было худого умысла, как я того опасался; ибо тут подошел живописец с предметами своего ремесла, а именно: суриком и киноварью для моих век, лаком, индиго и лазурью для моих кораллово-красных уст, аурипигментом, сандараком и свинцовой желтью для моих белых зубов, оскаленных от голоду, сосновой сажею, углем и умбрией для белокурых моих волос, белилами для страшных моих глаз и множеством еще иных красок для пестроцветного моего кафтана; также был у него целый ворох кистей. Сей зачал меня оглядывать, обрисовывать, контуровать, отводя голову в сторону, дабы пристальней сравнить свою работу с моим обликом. То подправлял он глаза, то волосы, то дорисовывал ноздри, одним словом, все то, что поначалу было сделано им неисправно, покуда наконец не удалось ему запечатлеть натуральнейший образ Симплициуса, каким он был, так что даже я сам, гляючи на отвратительный свой облик, немало ужасался. Тогда только дозволили подступить ко мне цирюльнику; он вымыл мне голову и добрых полтора часа приводил в порядок мои волосы, а потом подрезал их по тогдашней моде, ибо они были у меня в избытке. Затем отвел он меня в горенку для мытья и очистил мое тощее и заморенное тело от более чем трех- или четырехгодовой нечистоты. Едва покончил он с этим делом, как принесли мне белую рубаху, башмаки и чулки, также брыжи или воротник, шляпу и перо; штаны были искусно сшиты и отделаны позументами, недоставало только камзола, над коим трудился с великой поспешностью портной. Повар принес укрепляющую похлебку, а погребщица напитки. И сидел господин Симплициус разряжен в пух и прах, как некий граф. Я смело поедал все, что мне ни подавали, невзирая на то, что не знал, что со мной потом будет, ибо не ведал тогда еще о последнем обеде перед казнию. А посему, вкушая сие великолепное начало, испытывал я толикую приятность и отраду, что не мог бы того никому довольно изъяснить, нахвалить и прославить. И я не думаю, что когда-либо в жизни получил большую усладу, нежели тогда. Как только камзол был готов, напялил я его на себя, являя в новом сем платье столь неловкую фигуру, словно некий трофеум или разряженная огородная жердь, ибо портные постарались сшить его пошире в надежде, что я в короткое время раздобрею, в чем они и не ошиблись, ибо от столь приятного столования и лакомых кусков толстел я прямо на глазах. А лесное мое одеяние вместе с веригами и всем прочим было помещено в кунсткамеру наряду с другими редкостными вещами и древностями, а рядом выставлен мой портрет во весь рост.

После ужина уложили господина (коим был я) в постель, в какой никогда не доводилось мне почивать ни у моего батьки, ни у отшельника; однако мое брюхо ворчало и роптало во всю

ночь, так что не давало мне спать, может статься, не по какой иной причине, как оттого, что не разумело еще, что благо, либо изумлялось доставшимся ему новым приятным кушаньям. Я же беспрестанно ворочался всю ночь, покуда вновь не засияло любезное солнце (ибо было холодно), и размышлял о диковинных испытаниях, выпавших мне в последние дни, и как пре-благий Бог оказал мне столь попечительную помощь и привел меня в надежное сие место.

Двадцать вторая глава

Симплициус слышит, как после сраженья

Отшельник в пустыне обрел утешенье

Тем же утром велел мне гофмейстер тамошнего губернатора пойти к сказанному священнику и узнать от него, о чем говорил с ним его господин. Со мной отрядили стражника, который и проводил меня к священнику; тот же провел меня в свой кабинет, или музей, сел и, усадив также меня, сказал: «Любезный Симплициус! Отшельник, с коим ты жил в лесу, был не только свояк здешнего губернатора, но и лучший его споспешествователь в делах военных и ближайший друг. И как это было угодно губернатору, поведал он мне, что сей муж от самой своей юности никогда не отступал ни от геройской доблести солдата, ни от набожности и благочестия, присущих скорее служителю Бога, каковые две добродетели весьма редко вместе обретаются. Духовные помыслы и неблагоприятные события стеснили наконец его на пути мирского благополучия, так что он презрел знатный свой род и наследованные им богатые имена в Шоттенландии и оставил их, ибо нашел он, что все дела мира тщетны, суетны и переходящи. Одним словом, он уповал сменить нынешнее величие на будущую славу, понеже его высокий дух наскучил всем временным великолепием, и все чаяния и помышления его были устремлены к той бедственной жизни, какую он вел в лесу, когда ты повстречал его и был ему сотоварищем до самой его смерти. По моему разумению, склонило его на то чтение многих папистских книг о житии древних отшельников (или так же изменчивое и превратное счастье).

Я не хочу также утаить от тебя, как он попал в Шпессерт и, следуя своему желанию, прилепился к тому бедственному пустынножительству, дабы и ты в будущем мог поведать о том другим людям. На следующую ночь, после того как была потеряна кровопролитная битва при Хёхсте, пришел он один-одинехонек к моему приходскому дому, как раз под утро, когда я только что уснул вместе с женою и детьми, ибо от превеликого шума в той местности, какой обыкновенно подымают в подобных случаях бегущие и преследующие, всю прошлую и половину этой ночи мы прободрствовали. Он сперва чинно постучал, а потом и довольно нетерпеливо, покуда не пробудил меня и заспанную челядь; и когда я после его просьбы и немногих слов, взаимно учтивых, отворил дверь, то увидел кавалера, слезавшего с доброго коня; его дорогое платье было столь же залито вражеской кровью, как и убрано золотом и серебром, и так как он все еще сжимал в руке обнаженную шпагу, то объял меня страх и трепет. Когда же он вложил меч в ножны и не изъявил ничего, кроме редкостной учтивости, то подал и мне причину изумиться, как это столь знатный господин у столь ничтожного деревенского священника так приветливо просит пристанища. По его красивой стати и великолепному виду почел я его за самого Мансфельда. Он же сказал, что на сей раз он не только сравнялся с ним в злополучии, но и превзошел его. Три предмета оплакивал он, а именно: 1) потерянную жену, брюхатую на последнем месяце, 2) потерянную битву и 3) что ему не выпало счастье, подобно многим другим честным солдатам, во время этой битвы лечь костями за святое Евангелие. Я хотел его утешить, но вскоре заметил, что его великодушие не нуждается в утешении; а посему поделился я с ним всем, чем только располагал мой дом, и велел постелить ему солдатскую постель из свежей соломы, ибо он не пожелал почивать ни на какой иной, хотя и весьма нуждался в покое. На следующее утро он первым делом подарил мне своего коня и деньги (ибо имел он при себе немало золота), а также роздал моей жене, детям и челядинцам несколько драгоцен-

ных перстней. Я же не знал, как мне о том рассудить, и не мог сразу с ним сообразоваться, ибо у солдат в обыкновении скорее брать, нежели давать; того ради колебался в мыслях, следует ли мне принимать столь богатые подношения, и приводил в извинение, что вовсе того не заслужил и заслужить не сумею; к тому еще присовокупил, что когда увидят у меня и моих домашних такое богатство, особливо же дорогого коня, коего и скрыть невозможно, то многие верно подумают, что я его ограбил, а то и пособил убить. Он же сказал, что я должен о том отложить попечение, ибо он отвратит от меня подобные наговоры, удостоверив все собственноручным письмом; и он даже захотел оставить в моем доме свою рубашку, не говоря уже об остальном платье. И с тем открыл он мне свое намерение стать отшельником. Я же противился ему из всех сил, ибо мне мнилось, что такое предприятие отдаст папешством, и я увещевал его, напоминая, что он лучше может послужить Евангелию своим мечом. Но тщетно, ибо он так долго меня упрасивал и уламывал, покуда я не уступил ему во всем и не снабдил его теми книгами, изображениями и утварью, которые ты у него видел, хотя он пожелал за все, что он мне пожаловал, получить одно только шерстяное одеяло, коим он укрывался в ту самую ночь, когда спал у меня на соломе; из него-то он и велел сшить себе кафтан. Также принужден был я мою тележную цепь, которую он потом беспрестанно влачил на себе, сменить на его золотую, а на ней носил он портрет возлюбленной своей жены, так что не осталось у него больше ни денег, ни чего-либо, стоящего денег. Мой работник отвел его в самую чащу леса и пособил поставить там хижину. А как проводил он там свои дни и в чем я ему иногда подавал руку помощи и ссужал его, знаешь ты довольно, а то и лучше, нежели я сам. После того как недавно была проиграна битва при Нёрдлингене и я, как ты знаешь, начисто был ограблен и притом еще и покалечен, то бежал сюда в поисках безопасности, ибо и без того уже хранил здесь лучшие свои вещи. И когда у меня разошлись наличные деньги, то взял я три кольца и сказанную золотую цепь с висевшим на ней медальоном, которые все получил от твоего отшельника, понеже тут был и его перстень с печатью, и отнес к одному еврею на продажу; он же ради искусной работы предложил их купить губернатору, а тот сразу признал герб и портрет, послал за мною и спросил, откуда у меня такие драгоценности. Я поведал ему всю правду, представил собственноручную грамоту, или дарственное письмо, отшельника и рассказал по порядку все, как было, также и о жизни его в лесу, и о смерти. Однако губернатор ничему тому не захотел поверить и посадил меня под арест до тех пор, покуда он не разузнает всю правду; и меж тем как он собирался выслать разъезд, чтобы достоверно осмотреть хижину отшельника и доставить тебя сюда, как увидел я, что тебя ведут в башню. И понеже у губернатора отныне нет причины сомневаться далее в моих словах, ибо я указал место, где жил отшельник, и сослался на тебя и многих других живых свидетелей, особливо же на моего пономаря, который часто еще до рассвета впускал вас обоих в церковь, а к тому же еще и письмецо, которое нашел он в твоём молитвеннике, не только подтвердило всю правду, но и послужило изрядным свидетельством святости покойного отшельника, то и решил он ради блаженной памяти свояка сотворить нам добро и щедро позаботиться о нас, сколь только ему возможно. Ты должен теперь рассудить, что тебе пожелать, дабы он это для тебя исполнил. Захочешь ты упражняться в науках, он покроет все необходимые к тому издержки; возymeешь ты охоту обучиться какому-либо ремеслу, он велит обучить тебя; а пожелаешь ты остаться у него, то возрастит он тебя, как родное дитя, ибо он сказал, что, когда бы у покойного его свояка остался хотя бы пес и пришел к нему, он приютил бы и пса». Я же ответил, что мне все едино: как поступит со мною господин губернатор, так мне и будет любезно и придется по праву.

Двадцать третья глава

Симплициус жизнь начинает наново,

Становится пажем у коменданта в Ганау

Прежде чем отправиться со мною к губернатору, чтобы сказать ему о моем решении, священник промешкал в наемном своем покое до десяти часов, чтобы попасть на обед, ибо губернатор держал открытый стол. Крепость Ганау находилась тогда в осаде, и время для простых людей, особливо же для беженцев, укрывшихся за ее стенами, было столь стесненное, что даже те, кои немало мнили о себе, не гнушались подбирать мерзлые очистки от репы, которые иногда выбрасывали в переулках богачи. И ему посчастливилось занять место рядом с самим губернатором, я же прислуживал с тарелкою в руках, как мне указал гофмейстер, в чем был столь же ловок, как осел в шахматах или свинья на варгане. Однако священник своими речами восполнил то, чего не позволяла неуклюжесть моего тела. Он сказал, что я, возвращенный в пустыне, никогда не был среди людей, а посему вполне простительно, что еще не уразумел, как надлежит себя вести; верность, которую я оказал отшельнику, и суровая жизнь, какую я претерпел с ним, поистине удивления достойны и уже по одному тому заслуживают не только того, чтобы терпеливо сносить мое неуклюжество, но и предпочесть меня самому благовоспитанному пажу. Далее поведал он, что я был единственной отрадой и утешением отшельника, и тот весьма благоволил ко мне, ибо, как он часто говаривал, я был весьма схож лицом на его возлюбленную жену и он нередко дивился моему постоянству и непоколебимой воле оставаться с ним в пустыне и еще многим другим добродетелям, которые он у меня находил и прославлял. Короче, не находил слов, чтобы передать, с какой душевной горячностью препоручил он меня ему, священнику, и открыл ему, что любит меня столь же сильно, как свое родное чадо. Сие столь приятно было моему слуху, что я почел себя довольно вознагражденным за все, что когда-либо перенес, живя у отшельника. Губернатор же спросил, разве его блаженной памяти свояк не знал, что он теперь командир в Ганау? «Конечно, – отвечал священник, – я сам сказал ему. Однако он выслушал это столь холодно (правда, с лицом радостным и со слабою улыбкою), как если бы никогда не знал Рамзая, так что я, когда размышляю о сем предмете, то дивлюсь постоянству сего мужа и твердому его намерению, как он мог столь совладать со своим сердцем и не только отречься от мира, но и от своего лучшего друга, находившегося в такой близости, и даже выбросить его из ума». У губернатора, который во всем прочем вовсе не отличался бабьим мягкосердечием, а был храбрым и доблестным солдатом, глаза были полны слез. Он сказал: «Когда бы я знал, что он еще жив и где его можно сыскать, то велел бы доставить его сюда против его воли, дабы вознаградить его за его добрые дела, но коль скоро счастье мне в том не благоприятствует, то хочу я заместо него позаботиться о Симплициусе и таким образом оказать себя благодарным хотя бы по смерти отшельника. Ах, – промолвил он далее, – сей честный кавалер изрядную имел причину оплакивать беременную свою жену, ибо она была взята в плен во время погони отрядом имперских всадников и как раз в Шпессерте. Когда я об этом услышал и полагал, что мой свояк пал в битве при Хёхсте, то немедленно выслал к противнику трубача, чтобы справиться о сестре и предложить выкуп, однако ж не добился этим ничего, а только узнал, что сказанный отряд всадников был рассеян в Шпессерте крестьянами и в том сражении сестра моя была ими потеряна, так что я и посейчас не ведаю, куда она подевалась».

Сии и подобные речи вели губернатор и священник, вспоминая во время застольной беседы об отшельнике и возлюбленной его жене, каковая супружеская чета тем большего сожаления была достойна, что соединены они были всего один год. А я стал пажем губернатора и столь важной птицей, что люди, особливо простые мужики, когда я должен был доложить о них моему господину, уже величали меня господин Мальчик, хотя и редко можно увидеть малого, который был бы господином, куда скорее господина, который до того был малым.

Двадцать четвертая глава

Симплиций казнит беззаконие мира,

Где каждый избрал себе злого кумира

В то время не было у меня большего сокровища, нежели чистая совесть и прямодушный благочестивый нрав, чему сопутствовала и прилежала простота и благородная невинность. О грехах я знал не более того, что довелось мне услышать или прочитать, и когда узрел их воочию, то было это для меня делом диковинным и устрашительным, ибо я был взращен и приобик к тому, чтобы непрестанно созерцать присутствие Бога и прилежно следовать Его святой воле; и понеже я знал ее, то и судил по ней о поступках и помыслах людей. И в сем упражнении мнилось мне, что вижу я одну только суетную мерзость. Боже правый! Как изумлялся я поначалу, когда размышлял о Ветхом и Новом Завете и всех неложных увещаниях Спасителя и в противность им созерцал дела тех, кто объявлял себя его учениками и последователями! О горе! Вместо прямодушного мнения, какое должно быть у всякого христианина, нашел я у всех преданных плотским помыслам мирян одно лишь суетное притворство и несчетное множество всяких иных дурачеств, так что усомнился, впрямь ли вижу перед собою христиан или нет. Ибо с легкостью мог заметить, что многие знают строгую волю Господа, однако ж видел, что никто строго ей не следует.

Итак, родились в уме моем тысячи различных воображений и диковинных мыслей, и я впал в великий соблазн и преступил заповедь Господню, которая гласит: «Не судите, да не судимы будете». Тем не менее пришли мне на память слова апостола Павла в послании к галатам в пятой главе: «Дела плоти известны, они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распря, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, обжорство и иные тому подобные, от коих я вас предостерегал прежде и предостерегаю теперь, что поступающие так царствия божия не наследуют!» Тут я помыслил: «Сие творит ведь почти всяк явно, для чего же не положиться мне чистосердечно на слова апостола, что не всякий наследует жизнь вечную?»

Наряду с гордыней и корыстью и их достопочтенными приспешниками каждодневным упражнением людей с достатком было пьянство и обжорство, распутство и волокитство; более же всего ужасала меня такая мерзость, что многие, особливо же простые солдаты, коих не имели обыкновения строго карать за пороки, вменияли в шутку и свое безбожие, и самую пречистую волю Господню и нарочито геройски над нею глумились. К примеру, услышал я однажды прелюбодея, который еще хотел похвалиться содеянным и говорил такие безбожные слова: «Поделом терпеливому рогоносцу, что он мною рогами изукрашен, и, по правде, я свершил сие скорее ему в досаду, нежели его женке в усладу, чтобы ему порядком отомстить». – «О низкая месть! – возразила ему честная душа, что стояла рядом. – Через то сквернят собственную свою совесть и получают постыдное имя прелюбодея!» – «Чего, прелюбодея? – отвечал он с поносительным смехом. – Да я для одного того не прелюбодей, сиречь браколом, что не ломал, а только малость погнул. А прелюбодеи-то те, о которых речет шестая заповедь, когда запрещает залезать в чужой сад и заламывать непочатую вишенку допрежь хозяина». Итак, объявил он, согласно своему Катехизису дьявола, надобно разуметь седьмую заповедь, которая сие положение изъясняет явственно, когда речет: «Не укради». Такие хулы извергал он во множестве, так что я украдкой вздохнул и подумал: «О богохульствующий грешник! Ты име-

нуешь самого себя бондарем браков, который их гнет в обручи, а всеблагого Бога называешь браколомом, ибо он смертью разлучает мужа и жену!» «Да рассудил ли ты, – воскликнул я с чрезвычайной горячностью и досадою, хотя и был он офицером, – что такими безбожными словами ты грешишь больше, нежели самим прелюбодеянием?» Он же ответил мне: «Заткни глотку, прохиндей! Уж не надавать ли тебе оплеух?» И полагаю, нахватал бы немало горячих, когда б сей малый не побаивался моего господина. Я же примолкнул, а впоследствии увидел, что то вовсе не в диковину, когда холостые зарятся на замужних, а замужние на холостых и, опустив все удила и поводья, предаются похотливым утехам.

Когда я еще вместе с отшельником изучал путь к вечному спасению, то дивился, чего ради запретил Бог Израилю идолослужение, грозя столь суровыми карами, ибо полагал, что кто однажды познал истинного предвечного Бога, тот никогда не сотворит себе иного кумира, не поклонится и не послужит ему; итак, заключил по глупому своему разумению, что заповедь сия ненужна и дана напрасно. Но ах! Я, дурень, не ведал того, о чем размышлял; ибо едва только вступил в мир, то приметил, что (невзирая на сию заповедь) чуть ли не всяк тут избрал себе особенного кумира; а у некоторых было куда больше, нежели у самых древних и новых язычников. Одни хранили его в ларцах, возлагая на него все свои упования и надежды; другие нашли его при дворе, где стал он единственным их прибежищем, хотя был всего лишь фаворит, а то и просто беспутный вертопрах, как и его поклонник, ибо вся непрочная его божественность покоилась на одном только благоволении принца, изменчивом, как апрельский ветер. Иные обретали его в почестях и мирской славе, и коль скоро их достигали, то мнили и самих себя полубогами. А еще иные поселили своего кумира в собственной голове, те именно, коим Бог истинный даровал здравый ум, так что они способны были постичь различные науки и искусства. Они пренебрегали милостивым подателем всего и полагались на один только дар в надежде, что он доставит им всяческое благополучие. Было и много таких, кому идолом служило собственное их брюхо, коему они каждодневно приносили преизобильные жертвы, как в древние времена язычники Бахусу и Церере; а когда оно на что-либо досадовало или объявлялась еще иная какая телесная немощь, то страждущие ставили себе кумиром медика и с превеликим нетерпением и десперацией искали спасения жизни в аптеках, хотя там им нередко споспешествовали обрести смерть. Иные дурни творили себе кумиров из пригожих потаскушек, коих они нарекали другими именами, поклонялись им денно и ночью со многими вздохами и слагали для них песни, где ровно ничего не было, кроме похвал им и смиренных молений, – да смилюстивятся они над их сумасбродством и возжелают также стать дураками, подобно тому как они сами стали дураками.

Напротив того, находились женщины, которые нередко избирали своим божеством собственную красоту. «Сия-то, – помышляли они, – уж, верно, доставит мне мужа, как бы там ни рассудилось Богу вышнему». И сего кумира вместо прочих жертвоприношений каждодневно чтили и ублажали румянами, притираниями, примочками, присыпками и всякими там еще мазями. Я видел людей, которые почитали божеством дома, расположенные на бойком месте, ибо они уверяли, что, пока живут там, счастье и довольство не покидает их, а деньги словно сыплются в окошко, каковому дурачеству я весьма дивился, ибо ведал причину, по которой жители оных домов получают добрую прибыль. Я знавал одного малого, который лишился на несколько лет сна ради табачной торговли, ибо отдал ей свое сердце, чувства и помыслы, кои должны быть посвящены единому токмо Богу; он же денно и ночью бесчисленное число раз вздыхал по своему кумиру, ибо через него обогатился. А чем кончилось? Сей фантаст помер и сам исчез, как табачный дым. Тогда помыслил я: «О ты, жалкий человек, ты, яко дым ничтожный, исчезнувший! Когда бы ты столь же усердно прилежал к спасению твоей души и почитанию Бога истинного, как и своему кумиру в образе бразильца со свитком табаку под мышкой и трубкою во рту, что был выставлен напоказ в твоей лавочке, то я неотменно уверен, что в жизни вечной ты унаследовал бы венец праведных». А еще у одного хвастливого посла были

и вовсе непутевые божества; ибо когда в некоем обществе каждый рассказал, каким родом он во время столь ужасной дороговизны и презестокой голодовки жил и добывал себе пропитание, то он не обинуясь признался на внятном немецком языке, что улитки и лягушки были его божеством, а не будь их, то он принужден был бы помереть с голоду. Я же спросил сего дерьмоеда, а чем же был для него сам Господь Бог, который послал ему на пропитание оных *insecta*²². Однако пентюх не знал, что на это ответить, и я должен был тому еще более удивиться, ибо мне еще не доводилось нигде прочесть, чтобы у древних идолопоклонников в Египте или у новейших американцев когда-либо подобные гадины были объявлены божествами, как то учинил сей шут.

Однажды зашел я с неким благородным господином в кунсткамеру, где были собраны изрядные древности и редкости. И среди картин ничто мне так не понравилось, как Ессе Номо²³, ради прежалостного изображения, которое тотчас же восхищает зрителя к состраданию. А рядом висело бумажное полотнище, размалеванное в Китае, где во всем своем великолепии восседали китайские божества, часть коих была чертям подобна. Хозяин дома спросил меня, какой предмет в кунсткамере всего более мне понравился? Я показал на помянутое Ессе Номо. Он же заметил, что я ошибаюсь; китайская картина реже и того ради дороже, он не променял бы ее за десяток таких Ессе Номо. Я ответил: «Господин! Глаголят ли уста ваши от чистого сердца?» Он сказал: «Уж я-то знаю!» На что я молвил: «Итак, бог вашего сердца тот, чье изображение уста ваши признают самым драгоценным». – «Фантаст! – сказал он. – Я эстимирую раритеты!» Я ответил: «Что же есть реже и достойнее удивления сына божьего, пострадавшего за нас, как представляет нам сия картина?»

²² Насекомых (*лат.*).

²³ Се Человек (*лат.*).

Двадцать пятая глава

Симплиций не может в злом мире ужиться,

А мир сердито на него косится

И насколько чтили сих и великое множество всяких иных кумиров, настолько же пренебрегали истинным величием Божиим; ибо ежели мне не доводилось повстречать никого, кто бы пожелал соблюсти слово и заповеди Бога, то, напротив того, видел многих, кои во всем им противились, так что и мытарей (почитавшихся в те времена, когда Христос еще ходил по земле, самыми нераскаянными грешниками) превзошли в беззаконии. Христос же речет: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас; да будете сынами отца вашего небесного; ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, то что особенного делаете? Не так ли поступают и мытари?» Однако я не сыскал никого, кто пожелал бы сей заповеди Христовой последовать, но всяк поступал как раз напротив и делал все прямо наперекор. Сказано ведь: «Всякий сват – собаке брат!» И я нигде не встречал столько зависти, злобы, недоброхотства, раздоров и свары, как промеж братьев, сестер и других кровных родственников, особливо же когда им доведется делить наследство; тогда грызутся они целый год с таким ожесточением, что своею бешеною лихостию намного превосходят татар и турок.

Также и люди одного ремесла повсеместно ненавидят друг друга, что я мог увидеть воочию и посему заключить, что явные грешники, откупщики податей и мытари, которые за свою злобу и безбожие были от многих столь презираемы, и те в делах любви к ближнему намного превзошли нас, нынешних христиан, ибо сам Христос свидетельствует, что между собою жили они в любовном согласии. А посему я рассудил, что ежели мы лишены небесной награды за то, что не любим наших врагов, то какой же заслуживаем мы казни за то, что ненавидим наших друзей. Где надлежало быть великой любви и верности, там обрел я наибольшую измену и жесточайшую ненависть, раздор, гнев, вражду и несогласие. Иной господин бесчестил своих верных слуг и подданных; напротив того, многие подданные бесчестно плутовали у добросердечных господ. Непрестанные распри замечал я между супругами; иной тиран обходился с честною своею женою хуже, нежели с собакой; а иная беспутная потаскушка почитала своего добропорядочного мужа дураком и ослом. Многие наглые господа и мастера обманывали усердных своих слуг при выплате заслуженного ими жалованья и обделяли их в харчах; напротив того, видел я и много бессовестных челядинцев, которые воровством и небрежением разоряли добронравных своих господ. Купцы и ремесленники, словно наперегонки, выколачивали проценты ростовщическими алебардами и различными фортелями и увертками выжимали мужиков до седьмого пота. Напротив того, и мужики нередко были столь безбожны, что когда с них не спускали шкуры, то так и норовили, прикинувшись простаками, насолить погорше ближним и даже самим господам. Однажды я увидел, как солдат отвесил другому здоровенную оплеуху, и вообразил, что побитый тотчас же подставит ему также и другую ланиту (ибо мне еще ни разу не привелось видеть драку). Но я заблуждался, ибо обиженный вытащил из ножен что надобно и рассек обидчику голову. Я закричал во весь голос: «Друг, что ты сотворил?» – «Черт подери! – воскликнул он. – Тот шкура барабанная, кто сам не отомстит за себя или не лишится жизни! Эге, надо быть вовсе бесчестным человеком, чтобы дозволить так втоптать

себя в грязь». Шум, поднятый сими двумя дуэлянтами, все умножался, ибо вступились дружки того и другого, а затем ввязались все, что стояли вокруг или сбежались на тот случай, и пошла свалка; тут услышал я такую легкомысленную божбу и такие клятвы душевным спасением, что не мог поверить, чтобы они дорожили своею душою, как драгоценным сокровищем. Но все то еще было детской забавой; ибо дело не застряло на столь ничтожных и ребяческих клятвах, а за ними тотчас же последовало: «Разрази меня гром, ударь молния, побей градом! Да раздери меня нечистый, да не раз, а сто тысяч раз кряду и провали в тартарары!» Святое причастие призывалось не то что семижды, а без числа и счету, так что им можно было доверху набить целые бочки, галеры и завалить городские рвы, отчего у меня волосы стали дыбом. Я подумал: «Ежели они впрямь христиане, то где же заповедь Христова, в коей он речет: „А я говорю вам – никогда не клянитесь ни небом, ибо оно престол божий, ни землею, ибо она подножие стопам его, ни Иерусалимом, ибо он город великого царя; также не должен ты клясться своею головою, ибо не можешь ни единого волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: да, да, нет, нет; а что сверх того, то от лукавого“». Все сие, а также все, что видел и услышал, я прилежно рассмотрел и решил твердо, что сии драчуны вовсе не христиане, а посему стал искать себе другую компанию. Наиужаснее всего было для меня, когда доводилось слышать велеречивых хвастунов, похваляющихся своими злодеяниями, грехами, пороками и бесчестьем, ибо в различное время и притом каждодневно велись такие речи: «Тьфу! Кровь из носу! Как мы вчера нализались!»; «Я за один день упился три раза и столько же раз проблевал!»; «Тьфу! Провал возьми! Как мы этих плутов мужиков помучали!»; «Тьфу! Пропать! Вот это была добыча!»; «Тьфу! Дьявола в печень! То-то была потеха с бабами да девками!»; item «Я его так рубанул, как градом пришиб!»; «Я в него так пальнул, что глаза на лоб вылезли!»; «Я его столь вежливо перекинул через порог, что черти подбирали косточки!»; «Я ему так ногу подставил, что он чуть шею не сломал!»; «Я его так пытал, что он кровью захаркал!». Сии и подобные нехристианские речи беспрестанно наполняли слух мой, а сверх того видел и слышал я, как совершают грехи, поминая имя божие, что весьма сожаления достойно. Особенно же ввели то в обычай на войне, а именно когда говорили: «Идем с богом в набег, грабить, разорять, убивать, повергать, нападать, поджигать, в полон брать!», и что там еще составляет ужасные их труды и подвиги. Также и барышники вели свою торговлю во имя божие, дабы по дьявольскому корыстолюбию лучше обирать и обдирать. И я видел двух пройдох, болтавшихся на виселице, которые однажды ночью отправились воровать, а когда они, поминая имя божие, приставили лестницу, чтобы по ней взобраться, то попечительный хозяин, поминая черта, сбросил их вниз, отчего один из них сломал ногу и был пойман, а через несколько дней вздернут вместе со своим камрадом.

И когда я видел или слышал что-либо подобное и пускался по своему обыкновению увещевать Священным писанием или чистосердечно отговаривать от таких поступков, то почитали меня люди за сущего дурня или сумасброда; так что я за свои добрые намерения столь часто подвергался осмеянию, глуме и всяческим издевкам, что под конец сам осердился и дал зарок совсем замолчать, чего, однако, по христианской любви не мог соблюсти. Как я желал, чтобы всякий воспитан был моим отшельником, тогда, мнилось мне, многие узрели бы сущность мира очами Симплиция, какими я на него тогда смотрел. И я не был еще настолько смышлен, чтобы сообразить, что когда на свете жили бы одни только Симплициусы, то, верно, и не открылось бы зрелище стольких пороков. Меж тем истинно, что человек, привыкший ко всем грехам и безумствам мира сего и сам их творящий, не может и малой доли того почувствовать, на сколь опасную стезю вступил он вместе со всеми.

Двадцать шестая глава

Симплиций взирает ребяческим оком,

Каким солдаты подпали порокам

Когда же я возомнил, что имею причину сомневаться, обретаюсь ли я среди христиан, то пошел к священнику и поведал ему все, что я слышал и видел и что было у меня о сем в мыслях, а именно, что почитаю я этих людей хулителями Христа и его учения, а вовсе не христианами, и просил, да поможет он мне выйти из сего наваждения, дабы я знал, за кого надлежит мне принимать моих ближних. Священник ответил: «Вестимо, они христиане, и я не советую тебе называть их как-либо иначе». – «Боже ты мой! – воскликнул я. – Как то возможно? Ведь когда я укажу тому или иному на проступок, содеянный им против заповедей господних, и обращаю мысль его ко благу, то все меня подымают на смех и глумятся надо мною». – «Тому не удивляйся, – отвечал священник, – я полагаю, когда бы благочестивые первохристиане, что жили во времена Спасителя, да и сами апостолы ныне восстали из гроба и пришли в мир, то вместе с тобою задали бы тот же вопрос, и в конце концов их, как и тебя, всяк почел бы глупцами. Все, что ты доселе слышал и видел, – обыкновеннейшее дело и ребячьи забавы по сравнению с тем, как тайно и явно прегрешают против Бога и людей и какие злодейства чинят в мире. Но не ожесточайся в сердце своем! Таких христиан, как блаженной памяти господин Самуель, сыщешь ты немного!»

Меж тем, как мы так беседовали, провели через площадь несколько человек, захваченных в плен у противника, что расстроило наш дискурс. Когда мы среди прочих также смотрели на пленных, то довелось мне узнать о таком безрассудстве, какое я не посмел бы даже увидеть во сне. То была новая мода встречать и приветствовать друг друга. И вот один из нашего гарнизона, который до того служил также и в имперских войсках и знал одного из сих пленников, подошел к нему, подал руку, чистосердечно и с полной радостью пожал ее, воскликнув: «Разрази тебя громом (право слово!), так ты еще жив, брат! Да провались ты пропадом, как черт свел нас вместе! Да я, лопни мои глаза, уже думал, ты давно болтаешься в петле!» На что тот отвечал: «Тьфу ты, пропасть! Браток! Да ты ли это или не ты? Черт тебя задерил! Да как ты сюда попал? В жись не подумал бы, что тебя повстречаю; я завсегда полагал, что тебя давно уволокли черти!» И когда они снова расстались, то сказал один другому вместо «Сохрани тебя Бог!» «Счастливо висеть! Завтра, быть может, сойдемся снова, то-то налижемся вдрызг и потешимся властью».

«Сие ли не отрадный благочестивый привет? – спросил я священника. – Не изрядное ли то христианское напутствие? Не святое ли возымели они намерение на завтрашнее утро? Кто же захочет признать их христианами или будет внимать их речам без удивления, когда они по христианской любви так привечают друг друга, то что же начнется, когда они повздорят? О господин священник, когда сии агнцы Христовы, вы же их пастырь, то подобает вам выгнать их на иное, лучшее пастбище». – «Ах! – отвечал священник. – Любезное дитя! Среди безбожных солдат и не ведется иначе. Боже, умилосердствуй! Ежели я даже принялся бы их усовещевать, то от этого было бы столько же проку, как от проповеди перед глухими, и я навлек бы на себя одну только погубительную их ненависть». Я весьма тому изумился и, покалякав еще малость с ним, пошел услужать губернатору; меня отпускали на некоторое время посмотреть город и потолковать со священником, ибо господин мой учуял мою простоту и полагал, что моя дурь

уляжется, когда я пошатаюсь всюду, кое-что повидая, послушаю, буду многими вышколен или, как говорят, обтесан и выструган.

Двадцать седьмая глава

Симплициус зрит, как крапивное семя

Добро наживает в недоброе время

Благоволение господина моего ко мне день ото дня все умножалось и возрастало, ибо я не только на его сестру, что была за отшельником, но и на него самого все более похож становился; меж тем как добрые харчи и ленивые дни скоро умягчили мои волосы, а лицо мое исполнили приятности. Подобное же благоволение оказывал мне всяк, ибо кто имел какую-либо нужду к губернатору, тот изливал свое расположение и на меня, особливо же доброхотствовал мне секретарь; а как надлежало ему еще обучать меня счету, то была тут немалая потеха по причине моей простоты и неведения. Он только недавно окончил учение, а посему был еще битком набит школьными дурачествами, отчего казалось иногда, что у него на чердаке не все ладно. Он нередко уверял меня, что черное есть белое, а белое – черное, из чего проистекало, что сперва я верил ему во всем, а под конец ни в чем. Однажды похулил я грязную его чернильницу, он же отвечал, сия самая распрекрасная вещь во всей канцелярии, ибо из нее достает он все, что пожелает: блестящие дукаты, платья и, одним словом, все, в чем был у него достаток, выудил он из нее мало-помалу. Я не хотел верить, чтоб из такой столь малой и презренья достойной вещицы столь великолепные предметы извлечь было можно. «Напротив, – сказал он, – сие способен производить *spiritus papiri*²⁴ (так прозвал он чернила), и чернильный прибор оттого и зовется прибором, что немалые вещи через него к рукам прибирают». Я спросил: «А как же можно их вытащить, когда туда разве что два пальца и просунуть-то возможно?» Он же ответил: у него-де такое в голове есть хватало, какое сию работу и справляет; он располагает, что вскорости выловит себе пригожую богатую невесту, а ежели посчастливится, то надеется вытащить также поместье с людишками, и что все сие вовсе не ново, а и в старину довольно бывало. Я принужден был таким искусным хитростям изумиться и спросил: «Есть ли еще какие люди, которые бы оным искусством владели или постичь его были способны?» – «Разумеется, – отвечал он, – все канцлеры, доктора, секретари, прокураторы или адвокаты, комиссары, нотариусы, купцы и торговые гости и несчетное множество всяких других, которые, ежели они только прилежно ловят и усердно блюдут свой интерес, становятся богатыми господами». Я сказал: «Так, значит, крестьяне и прочие работающие люди не столь остры умом, что в поте лица добывают себе пропитание и не обучаются сему ремеслу». Он отвечал: «Иные не понимают пользу сего искусства, а посему и не стремятся ему научиться; другие с радостью ему обучились бы, да им недостает в голове хватала или еще каких средств; некоторые изучают сие искусство и довольно имеют чем хватать, но не знают всех надобных для того хитростей, чтобы через него набогатиться; а есть и такие, что все знают и могут, что сюда надлежит, да только живут они не на везучем месте и не имеют, подобно мне, к тому случая, чтобы в оном искусстве должным образом упражняться».

Когда мы таким образом беседовали о чернильнице (коя неотменно напоминала мне кошель Фортуната), попался мне нечаянно в руки титулярник; в нем по тогдашним моим понятиям всяческих глупостей было больше, чем доселе мне доводилось повстречать. Я сказал секретарю: «То ведь все адамовы чада и одного между собою рода, а по правде от праха и пепла!

²⁴ Бумажный дух (лат.).

Откуда же повелось столь великое различие? Святейший, Непобедимейший, Светлейший! Не суть ли то свойства божии? Здесь Ваша милость, там Ваша строгость, и к чему еще тут Урожденный? Ведь довольно известно, что никто с неба не падает, из воды не возникает и на земле, подобно капусте, не растет. Почто тут одни токмо Пре-Высоко-Благородные, а нет двоюродных, троюродных, четвероюродных? Что это за дурацкое слово – Предусмотрительный? Разве у кого-нибудь глаза на затылке?» Секретарь принужден был, глядя на меня, рассмеяться и взял на себя труд пояснить, что означает тот или иной титул, и растолковать каждое слово особливо; я же упрямо стоял на том, что титулы даются не по праву; куда похвальнее титуловать кого-либо Ваше Благорасположение, нежели Ваша Стrogость; и ежели слово «благородный» само по себе означает высокую добродетель, так почему же когда соединяют его со словом «высокородный» (которое означает князя или графа), то сие новое слово «Высокоблагородный» умаляет княжеский тот титул, ибо прилагается к людям незнатным? Да и само слово «Благородие» не сущая ли нелепость? Сие засвидетельствует мать любого барона, ежели ее спросят, благо ли ей было во время родов.

Меж тем как я таким образом все высмеивал, то невзначай произвел столь жестокий выстрел легкого пороху, что оба, секретарь и я сам, сильно испугались. Сей немедленно возвестил о себе нашим носам и разнесся по всей комнате с такой крепостью, словно еще не довольно было, что мы перед тем его слышали. «Проваливай, свинья! – закричал на меня секретарь. – В свиной хлев ко всем прочим свиньям, с коими ты, болван, скорее придешь к согласию, нежели в конверсации с людьми почтенными». Однако ж и он сам принужден был убраться с того места, оставив его во владение ужасающей вони. Итак, доброе знакомство, которое я свел в канцелярии, и сам по известной пословице себе испортил.

Двадцать восьмая глава

Симплиций в гаданье теряет кураж,

Его надувает проказливый паж

Однако сия напасть приключилась со мною неповинно, ибо непривычные кушанья и лекарства, какие я получал каждодневно, дабы привести в разум мой ссохшийся желудок и сморщившиеся кишки, возбуждали в животе моем свирепые вихри и прежестокые ветры, порядком меня терзавшие, когда они неистово рвались на волю; и так как у меня и в мыслях не было, что я поступаю плохо, когда таким образом снизойду к природе, поелику такой внутренней силе долго противиться и без того было невозможно, да и мой отшельник (ибо оные ветры негусто были у него посеяны) никогда не наставлял меня о том, и мой батька не заказывал мне преграждать путь подобным детинам, так что я пустил их на вольный воздух и выпустил все, что просилось наружу, пока не лишился сказанным манером у нашего секретаря всякого кредита. Утрата сей милости была бы мне по столь тяжела, когда избавился бы я тем от еще горших злоключений; ибо со мною происходило все так же, как с благочестивым мужем, пришедшим ко двору княжескому, где ополчались Змий на Назика, Голиаф на Давида, Минотавр на Тесея, Медуза на Персея, Цирцея на Улисса, Эгист на Менелая, Палудус на Короба, Медея на Пелия, кентавр Несс на Геркулеса, ну, и кто там еще, Алтея на собственного сына своего Мелеагра.

Кроме меня, служил у моего господина в пажах некий прожженный плут и прехитрый пролаза, который состоял в сей должности уже два года; ему-то я и открыл свое сердце, ибо был он со мною одинаких лет. Я мнил: сей есть Ионафан, а ты Давид. Он же ревновал меня по причине того великого благоволения, какое оказывал мне день ото дня все более наш господин, и опасался, что я перебью у него все блага, и того ради смотрел на меня втайне завистливым и недоброхотным оком, измышляя, каким бы средством подставить мне ногу и через такое мое падение самому возвыситься. Я же обладал очами горлицы, и у меня было совсем иное на уме; и я поверил ему все мои тайности, кои, правда, состояли ни в чем ином, как в ребяческой простоте и благочестии, а посему он никак не мог под меня подкопаться. Однажды долго болтали мы в постели, прежде чем заснули; и, когда речь зашла о ворожбе и гаданье, пообещал он обучить меня сей премудрости даром и велел сунуть голову под одеяло, уверяя, что таким именно родом и надлежит ему передать свое искусство. Я старательно его послушался и с большим вниманием ожидал сошествия на меня прорицательного духа. Тьфу, пропасть! Сей не замедлил вступить мне в нос, и столь люто, что от нестерпимой вони не смог я долее оставаться под одеялом и принужден был высунуть голову. «Что это?» – спросил мой наставник. Я отвечал: «Ты подпустил!» – «А ты, – объявил он, – угадал, а значит, научился сему искусству». Я же не принял того за издевку, ибо не было тогда еще во мне желчи, а только домогался узнать, каким родом оные ветры испускать можно без шума. Товарищ мой отвечал: «Искусство то немудреное, тебе только надобно поднять левую ногу, как собака, что прыскает на угол, и притом тихонько молвить: *je pète, je pète, je pète*, да и понатужиться изо всех сил, так они и выйдут погулять безо всякого шума, как тати». – «Добро, – сказал я, – а когда потом разнесется вонь, то подумают, что собаки испортили воздух, особливо же если я подыму левую ногу на приличную высоту». Ах, подумал я, когда б сегодня в канцелярии я знал про это искусство!

Двадцать девятая глава

Симплиций, соблазном смущен, ненароком

Проворно съедает телячье око

На следующий день задал мой господин своим офицерам, а также всем другим добрым друзьям княжеский пир, ибо получил приятную ведомость, что наши взяли замок Браунфельс, не потеряв при сей оказии ни единого человека; тут надлежало мне, по моей должности, как и другим, служающим за столом, помогать разносить кушанья, наливать чарки и прислуживать с тарелкою в руках. В первый же день поручили мне нести большую жирную телячью голову (про каковое блюдо обыкновенно говорят: «Этот кус не для бедных уст»), и как была она гораздо разварена, то один глаз со всею принадлежащею до него субстанциию изрядно свисал наружу, что было для меня зрелищем умильным и соблазнительным. И понеже свежий запах сальной подливки и толченого имбиря разжигал меня, то восчувствовал я такой аппетит, что у меня слюнки потекли. Одним словом, глаз тот подмигивал и моим очам, и моему носу, и моим устам, как бы упрашивая, не возжелаю ли я принять его в сообщество моего обуреваемого голодом желудка. Я не дозволил себя долго мурьжить, а последовал своему желанию и на ходу столь ловко вылушил глаз ложкою, которую и дали-то мне впервые в тот самый день, и столь проворно и без заминки спровадил его в уготованное место, что ни одна душа не приметилла, покуда не пришел черед подавать на стол сие кушанье благородных судейских, и тут-то оно и выдало себя и меня. Ибо как только почали рушить жаркое и открылось, что недостает самый лакомый кусок, то мой господин тотчас же приметил, чего ради замешкался кравчий. Губернатор, по правде, не мог спустить такую проделку, чтобы ему кто-либо посмел подать телячью голову об одном глазе. Повара потребовали к столу, а вместе с ним допросили и тех, кто разносил кушанья; под конец все вышло наружу и про бедного Симплиция, что именно ему поручили нести к столу телячью голову, в коей оба глаза были на месте; а что там с нею случилось далее, про то никто не знал. Мой господин спросил меня с ужасающей миной: куда я подевал телячье око? А я вовсе не испугался столь угрюмого его вида, а проворно вытащил из сумки ложку и подцепил ею другой глаз, показав на деле все, что от меня узнать хотели, ибо в одно мгновение съел его, подобно первому. «*Par dieu!*²⁵ – вскричал мой господин, – сие зрелище посмачнее десяти телячьих очей!» Все присутствующие господа пришли в восторг от этого изречения, а мой поступок, который я совершил по простоте своей, называли хитрейшей выдумкой и предвестником будущей отваги и неустрашимой твердости, так что я через повторение как раз того, чем заслужил наказание, не только вовсе от него избавился, но и стяжал похвалы от многих застольных балагуров, подлипал и лизоблюдов, уверявших, что я поступил мудро, когда соединил оба глаза вместе, дабы они как в сем мире, так и в будущем могли друг другу пособлять и составить добрую компанию, к чему они были сызначала предназначены самой натурою. Мой же господин сказал, чтобы в другой раз я не смел вытворять что-либо подобное.

²⁵ Клянусь богом! (фр.)

Тридцатая глава

Симплиций впервой зрит пьяных солдат,

Вздурились за чаркой, сам черт им не брат

К сему пиру (я полагаю, что такое ведется и на других) приступили совсем по христианскому обычаю; застольная молитва была прочитана в подобающей тишине и, по всей видимости, весьма благоговейно. И сие благоговейное молчание продолжалось все время, пока подавали суп и другие первые блюда, словно они заседали в конvente капуцинов. Но едва только каждый успел три или четыре раза провозгласить: «Благослови, Бог!», как стало гораздо шумнее. Я не в силах описать, как мало-помалу голос каждого в отдельности крепчал и возвышался, но хотел бы только уподобить все совокупное общество оратору, который начинает тихонько, а под конец мечет грома. Принесли блюда, прозванные «перекуска», ибо они приправлены были пряностями и назначены как лакомство перед питием, чтобы оно тем легче проходило в глотку; итем заедки, ибо они во время пития на вкус не противны, не говоря уже о всяких там французских похлебках, гишпанских холла потрида, кои все множеством различных искусных ухищрений и неисчислимых приправ такую мерою проперчены, просолены, перетерты и перемешаны и так приготовлены к питию, что через все те пряности и различные примеси приобрели совсем иную субстанцию, нежели та, что была им определена природою, так что их не мог бы распознать и сам Эней Манлий, когда только что воротился из Азии и держал при себе лучших своих поваров.

Я подумал: «Разве не могут сии кушанья у человека, который ими лакомится, запивая вином (для чего, собственно, они и изготовлены), точно так же повредить чувства и разум и переменить всю его натуру, а то и превратить его в неразумного зверя?»

Кто знает, не те ли самые средства употребила Цирцея, когда обратила в свиней спутников Улисса?» Я видел, что гости на этом пиру пожирали приносимые кушанья, словно свиньи, упивались, как скоты, ломались притом, как ослы, и под конец блевали, как псы кожевника. Благородное гохгенмерское, бахерахское и клингенбергское вливали они себе в глотку преогромными стеклянными кубками, так что оно сразу же бросалось им в голову; тут было мне на что подивиться, как все переменялись, а именно: самые благоразумные люди, кои незадолго перед тем в полном здравии владели всеми пятью чувствами и вели изрядную беседу, внезапно начали поступать безрассудно и вытворять пренелепейшие дурачества. Глупости, которые они отмачивали, и чарки вина, которые они осушали, становились все больше, словно там бились об заклад, кто кого перещеголяет; под конец превратилось сие ратоборство в мерзостное свинство. Не было зрелища более странного, ибо я не знал, откуда нашла на них такая дурь, понеже действие вина или опьянение мне еще вовсе было неведомо; оттого-то при самом прилежном размышлении не возшло мне на ум ничего, кроме забавных предположений и вздорных фантазий; я отлично видел их диковинные мины, однако же не знал о причине такого их состояния. До сих пор всяк с должным аппетитом выпораживал посуду, а когда желудки наполнились, то все пошло куда хуже, чем у возчика с тяжелой упряжью, что по ровному полю бежит резво, а в гору ни тпру ни ну. Но как только в голову им ударила дурь, то преодолели они сию невозможность, кто почерпнув кураж в вине, кто желая оказать сердечное расположение другу, а кто по немецкому чистосердечию, дабы оказать честь благородному напитку. Но как и тут долго нельзя было устоять, то пустился один заклинать другого осушить чарку за здоровье важных

господ, или любезных друзей, или за его возлюбленную, отчего у иного глаза на лоб лезли и выступал холодный пот, однако ж принужден был пить. Да так, что под конец подпили превеликий шум с барабанным боем, свистом и струнную игрою и зачали палить из мушкетов, нет сомнения, для того, чтобы силою вогнать в желудки вино. Я же дивился, куда они могут все поместить, ибо не знал еще, что не успеет оно у них как следует согреться, как с превеликими муками извергается из того же самого места, куда они его незадолго до того влили с крайнею опасностью для своего здравия.

Знакомый мне священник также был на сем угощении, что было ему любо, как и всем другим, ибо и он, подобно другим, был человеком и пошел бы противу своей воли, когда бы от того отступился. Я подошел к нему и спросил: «Господин священник, чего ради сии люди вытворяют такие диковины? Отчего это случилось, что они шатаются из стороны в сторону? Мне так мнится, что они не в своем уме. Они все досыта наелись и клялись, что черт их задержит, ежели они могут проглотить хоть капельку, а сами не перестают себя накачивать. Принуждены ли они так поступать или по доброй воле наперекор Богу бесполезно все расточают?» – «Любезное дитя! – ответил священник. – Вино в голову – ум из головы! Но все сие ничто перед тем, что еще будет. Завтра поутру будет им еще горше, когда придет время расходиться, ибо, когда у них разопрет животы, будет им не так весело». – «А не полопаются у них животы, когда они их столь безмерно набивают? И как только могут их души, кои суть подобие божие, обитать в таких откормленных на убой свиных тушах, в коих они без малейшего благочестивого помысла томятся, как в мрачной темнице и кишашем насекомыми воровском каземате? О вы, души высокие, – сказал я, – как попускаете вы себя на такое мучение? Чего ради остаетесь вы заключенными в такой вонючей клоаке? И разве чувства, коими надлежит располагать душе, не погребены во чреве неразумного зверя?» – «Попрдержжи язык, – воскликнул священник, – а не то жестоких нахватаешь оплеух! Здесь не время читать проповеди, а иначе я исправил бы сие получше тебя!» Когда я это услышал, то стал уже молча взирать, как своевольно погубляли кушанья и напитки, не взирая на бедного Лазаря во образе многих сот толпившихся у порога изгнанников из Веттерауера, у которых от голода глаза пучило и коих можно было бы подкрепить всей той снедью, ибо худо жить тому, у кого ничего нет в дому.

Тридцать первая глава

Симплициус ставит на пробу кунштюк,

Едва тут ему не случился каюк

Когда я таким образом прислуживал с тарелкою в руках, а дух мой был смущен различными воображениями и беспокойными мыслями, то и брюхо мое не оставляло меня в покое; оно ворчало, урчало и роптало беспрестанно, давая тем уразуметь, что заключенные в нем детины хотят выйти до вольного воздуха; я же замыслил пособить самому себе, дабы избавиться от несносного сего бурчания и приоткрыть дверцу, употребив на тот случай свое искусство, которому меня прошлой ночью обучил мой товарищ. Согласно оному наставлению, отвел я левую ногу и окорочок на возможную высоту и понатужился изо всех сил, что у меня было, и только собрался трижды проговорить тайком заклинание «je pète», как в миг преужасная та запряжка выкатилась из задницы против всякого моего чаяния, и с таким превеликим грохотом, что я уже и не ведал, что творю; я так оробел, как если бы стоял на лесенке под самой виселицею, а палач вот-вот накинет мне петлю на шею, и в таком внезапном страхе пришел я в такое смятение, что уже не мог далее распорядиться членами собственного своего тела, понеже во внезапном сем шуме уста мои также возмутились и не захотели уступить первенство заднице и дозволить ей одной держать слово, а им, сотворенным для речей и криков, проворчать свое втайне. Того ради заднице наперекор исторгли они то, что я собирался произнести тайком, прегромогласно и столь ужасно, как если мне резали бы глотку. И чем несноснее рокотали исподние ветры, тем страшнее извергалось сверху «je pète», как если бы вход и выход моего желудка бились об заклад, кто из них двоих сумеет прогреметь наиужаснейшим гласом. От всего того получил я немалое облегчение во внутренностях, зато немилостивого господина в лице наместника. От столь нечаянного вопля, трубного звука и задней пушечной пальбы почитай что все его гости протрезвели, а я понеже не смог, невзирая на все свои труды и усилия, совладать с теми ветрами, был разложен на кобыле и так распарен, что и посейчас вспомнить жарко. То были первые побои, которые я получил с тех пор, как в первый раз вдохнул в себя воздух, ибо я столь мерзко его испортил, меж тем как мы должны дышать им сообща. Тут принесли курильницы и свечи, а гости вытащили свои мускусные флаконы и бальзаминники и даже нюхательные табаки, однако же и лучшие ароматы не могли перебить той вони. Итак, спектакль, в коем играл я лучше, чем самый изрядный комедиант на свете, доставил брюху моему мир, горбу – палки, гостям – полные ноздри вони, а слугам – попечение водворить в покоях добрый запах.

Тридцать вторая глава

Симплициус зрит: на пиру кавалеры

Священника потчуют сверх всякой меры

А когда сие миновало, то должен был я снова прислуживать, как и прежде. Священник же еще находился здесь и, как все прочие, был понуждаем к питию; он же отнекивался и сказал, что не охотник напиваться по-скотски. Напротив, возразил ему некий добрый гуляка, это он, священник, пьет, как скот, а он, питух, и прочие присутствующие здесь пьяницы, как человеки. «Ибо, – сказал он, – скотина выпивает столько, сколько ей по нутру и потребно для утоления жажды, так как не ведает, какое благо вкушать вино; нам же, людям, весьма любо, что мы обратили его себе на пользу и пропускаем в глотку благородный сок виноградной лозы, как поступали наши предки». – «Добро! – сказал священник, – однако приличествует мне держаться меры». – «Добро! – отвечал питух. – Честный муж держит слово», – и с тем велел налить полную мерою здоровенный кубок, который, пошатываясь, поднес священнику. Но тот убежал, оставив питуха с полным ведрком в руках.

Как только спровадили священника, все пошло ходуном и явило такое позорище, как если бы сие угощение доставляло удобный случай и было назначено к тому, чтобы отмещевать друг другу, спаивая, с ног сваливая и всякому глуму подвергая, ибо как только накачают кого-либо, так что он уже не может ни сесть, ни стать, ни шагу ступить, то сие называлось: «Теперича мы квиты! Ты меня намедни допек, так я сегодня тебя допарил, вот и на тебя пришла отплата», и т. д. Тот же, кто мог выстоять и пить долее всех прочих, весьма тем похвалялся и мнил, что он немаловажная птица; под конец такой поднялся содом, словно все белены объелися. Глядеть на них было столь же диковинно, как на масленичное представление, хотя и не было там никого, кроме меня, кто бы тому удивился. Кто пел, кто плакал; один смеялся, другой горевал, один хулил Бога, другой молился; иной прегромко кричал: «Эх, кураж!», а у иного язык присох к гортани; один спал и немотствовал, а иной тараторил без умолку, так что никто не мог и словечка вставить. Один повествовал о своих любовных проказах, а другой об устрашительных военных подвигах; иные толковали о церкви и божественных предметах, а иные обсуждали *ratio status*, политику, всесветскую и имперскую торговлю; некоторые перебежали с места на место, подобно ргути, и не могли нигде задержаться, а другие лежали в лежку, так что и пальцем пошевелить не могли, не говоря уже о том, чтобы ходить или прямо стоять на ногах; иные жрали, как молотильщики, словно целую неделю страдали от голодухи, а иные выблеивали снова все, что проглотили за целый тот день. Словом, все их деяния и поступки были столь забавными, дурацкими, странными, а притом еще греховными и безбожными, что против них отлучившийся от меня худой запах, за который я был столь немилосердно избит, мог почесться сущою шуткою. Под конец разгорелась на конце стола сурьезная перепалка; тут как зачали швырять друг другу в голову стаканами, кубками, блюдами и тарелками и драться не только кулаками, но и стульями, ножками от стульев, шпагами и чем ни попадя, так что у иных по ушам потек красный сок; однако ж мой господин тотчас же унял потасовку.

Тридцать третья глава

Симплиций относит на кухню лисицу

С приказом сготовить на ужин с корицей

А когда слова водворилось спокойствие, то перебрались искусные те пьяницы, забрав с собою бабенок и музыкантов, в другой дом, где покои были назначены и посвящены иным дурачествам. Мой же господин опустил на софу, ибо почувствовал колику не то от гнева, не то от пресыщения. Я оставил его лежать там, где он прилег, чтобы он мог успокоиться и заснуть; но едва дошел до дверей, как он пожелал меня позвать, да не сумел. Он крикнул только: «Симпл!..» Я подскочил к нему и увидел, что у него глаза заходят, как у скотины, когда ее колют. Я стоял перед ним, как пень, и не знал, что делать; он же показал на поставец для напитков и пролепетал: «Пр... при... ы... ы... неси... мне... ее... е... по... оо... длец... бо... о... о... льшой... тааз... мне... е... е... на-аадо... вы... пу... у... у... стить ли... ы... ы... сицу!» Я поспешил сие исполнить и принес ему умывальный таз, но, когда я к нему подошел, щеки у него расперло, как барабан. Он проворно схватил меня за руку и приспособил так, что я принужден был держать тот таз у самого его рта. Сей разверзся внезапно с мучительными толчками, словно идущими от самого сердца, и исторг в помянутый таз столь свирепую материю, что я от нестерпимой вони едва не лишился чувств, особливо же (s. v.) оттого, что мокрые комочки брызнули мне в лицо. Я чуть сам туда не подбавил, но когда увидел, что он позеленел, то отложил сие намерение из страха и опасения, что душа его расстанется с телом вместе с той скверною, ибо выступил у него на челе холодный пот, а лицом он стал похож на умирающего. Когда же он очнулся, то приказал мне принести свежей воды, чтобы выполоскать рот и очиститься от винного перегару.

Засим велел он бурю ту лисицу унести прочь, что мне, ибо она наполняла серебряный таз, не показалось зазорным, а мнилось, что то блюдо с отменною закускою на четырех персон, которое вылить попусту никак не подобало. К тому же знал я твердо, что господин мой не худые яства собрал у себя в желудке, а, напротив, отменные и деликатные паштеты, также всевозможные печенья, птицу, дичину, домашнюю убоину, что все еще хорошо различить и узнать было можно. Я выкатился с этим блюдом, да не знал, куда нести его дальше и как тут поступить надлежит, спросить же у моего господина не осмеливался. Я пошел к гофмейстеру; ему объявил я сей прекрасный трактамент и спросил, как мне поступить с этой лисицей. Он же ответил: «Дурень, ступай и отнеси ее скорняку, пусть выделает из нее мех». Я спросил: «А где скорняк?» – «Нет, – сказал он, заметив мою простоту, – лучше отнеси доктору, дабы он определил по ней, каково здоровье нашего господина». Я и впрямь отправился бы туда, подобно как с первым апреля, ежели бы гофмейстер не побоялся, как это еще обернется; а посему велел мне отнести тот сосуд на кухню с приказом, чтобы девки сию лисицу поскорее приготовили с перцем и корицей, что я с полным радением исправил, чего ради те негодницы весьма меня поносили.

Тридцать четвертая глава

Симплиций на странных танцоров дивится,

От страха в глазах у него все двоится

А когда избавился я от того сосуда, господин мой уже вышел со двора; я догнал его возле некоего большого дома, где увидел залу, полную мужей, жен и всякой холостежи, которые столь проворно прыгали и мотали ногами, что все кругом так и кипело. Тут поднялся такой топот и гомон, что я возомнил, будто все они вздурились, ибо никак не мог догадаться, что они в таком бесновании и неистовстве замышляют. Да и облик их показался мне столь свирепым, страшным и ужасающим, что все власы мои ошетинились, и я не мог подумать иначе, что все они, кто ни на есть, повредились в разуме. Когда же мы подошли ближе, то я увидел, что то наши гости, которые еще до полудня были в своем уме. «Боже ты мой! – подумал я. – Что же такое вознамерились предпринять сии бедные люди? Ах, верно, обуревают их безумие!» А вскоре пришло мне на ум, что то, может статься, адские духи, кои, приняв сию личину, таким бездельническим скаканием и обезьянством глумятся надо всем родом человеческим; ибо полагал, что когда бы в них заключена была душа живая и носили они в себе подобие божие, то так не по-людски не поступали бы. А когда мой господин вошел в сенцы и направился в залу, то беснование как раз стихло, хотя они еще не переставали покачивать и потряхивать головами, скользить и чертить по полу башмаками, так что мне сдавалось, что они вознамерились истребить следы свои, которые оставили во время сего беснования. Пот, струившийся по их лицам, и тяжелое пыхтенье дозволяли мне заключить, что они сильно притомились, однако ж радостные их лица давали уразуметь, что оные труды были им не в тягость.

Меня разбирала превеликая охота узнать, куда столь дурацкое дело завести может; а посему спросил я у моего товарища и чаемого непритворного, надежного и сердечного друга, который незадолго перед тем обучил меня ворожке, что сия ярость означает или к чему сие топтанье и мотанье клонится. Он же поведал мне за чистую правду, что все присутствующие собрались тут единственно затем, чтобы сообща проломить пол в этой зале. «А не то, рассуди, – сказал он, – чего ради стали бы они еще так доблестно куролесить? Али ты не видишь, что от этой потехи стекла в окошках повыбиты? Точно так же будет и с этим полом». – «Господи боже! – воскликнул я. – Так ведь и мы принуждены тогда будем провалиться и в таком падении переломать ноги и свернуть шею?» – «Вестимо, – сказал мой товарищ, – к тому дело идет, и оттого-то им сам черт не брат. Ты еще увидишь, что когда они ввадутся в сию гибельную опасность, то каждый схватит пригожую бабенку или девицу; ибо говорят, что когда такая парочка сцепится, то вдвоем мягче падать». И так как я всему тому поверил, то напал на меня такой страх и такая боязнь перед смертью, что я уже не знал, куда мне деваться; а как музыканты, коих я до той поры не приметил, к сему подали голос и молодцы побежали к дамам, ровно солдаты на свои посты и к оружию, когда барабаны забьют тревогу, и всяк подхватил себе по бабенке, то представилось мне, что передо мной уже разверзается пол и я вместе со всеми прочими лечу вверх тормашками и вот-вот сломаю шею. А как зачали они скакать, да так, что все строение задрожало, ибо стали отплясывать потешную уличную, то подумал я: «Тут тебе и карачун пришел! Ну, Симплиций, глядишь ты на свет во последний раз!» Я полагал, что не иначе как разом рухнет все здание, а посему в прежестокоем страхе ухватил внезапно некую даму знатного рода и отменных добродетелей, с коей господин мой в то самое время вел беседу,

как медведь, за руку и повис на ней, словно репей. Но так как она дернулась прочь и не могла понять, что за дурацкие воображения взбрели мне на ум, то впал я в дикую десперацию и от преисполнившего меня отчаяния завопил, как если бы меня собирались умертвить. Однако и того еще было недовольно, ибо ушло из меня в штаны нечто, что издало такую чрезвычайную вонь, какую моему носу давненько чують не доводилось. Музыканты внезапно смолкли, плясуны и плясуньи стали как вкопанные, а достохвальная дама, у коей я повис на руке, нашла, что ей нанесен afront, ибо возомнила, что мой господин все сие подстроил ей в издевку. За что господин велел меня высечь, а потом запереть, куда ни есть, понеже в тот самый день я уже немало натворил всяких дурачеств. Помощники фурьеров, коим надлежало произвести экзекуцию, не только возымели ко мне сожаление, но и не могли учинить сего по причине лихой вони; а посему уволили меня от порки и заключили под лестницу в гусятник. С того времени неоднократно размышлял я о сем предмете и заключил, что excrementa, кои исходят от испуга и страха, более мерзкий источают запах, нежели когда кто примет проносное лекарство.

Книга вторая

1-я гл. Симплиций в хлеву глядит исподтиха,
Как гусаку пособляет гусиха.

2-я гл. Симплиций речет, в кою пору мыться,
Дабы вреда не могло приключиться.

3-я гл. Симплиций пажу отплатил за науку,
Поведав, какую сыграл он с ним штуку.

4-я гл. Симплиций взирает, со коликим нахальством
В Ганау надули большое начальство.

5-я гл. Симплиций чертями в геенну вedom,
Где потчуют бесы гишпанским вином.

6-я гл. Симплиций внезапно в рай попадает,
Телячье обличье там принимает.

7-я гл. Симплиций в телячьем чине исправен,
Стал меж людьми и скотами славен.

8-я гл. Симплиций о памяти слышит прение,
Потом суждение про забвение.

9-я гл. Симплиций многим на забаву лицам
Похвальную речь сочиняет девицам.

10-я гл. Симплиций речет о героях смелых
И о мастерах, в ремесле умелых.

11-я гл. Симплиций о жизни всетрудной тужит
Того господина, коему служит.

12-я гл. Симплиций приводит схолию ту,
Что ум неразумному дан скоту.

13-я гл. Симплиция речи кто ведать желает,
Пусть тот прилежно сие читает.

14-я гл. Симплиций беспечно резвится на льду,
Попал он к кроатам себе на беду.

15-я гл. Симплицию пало на злую долю
Беды и горя у кроатов вволю.

16-я гл. Симплиций скитается в темных лесах,
На двух злодеев наводит страх.

- 17-я гл. Симплиций зрит ведъм на шабаш сборки
И сам попадает в бесовские своры.
- 18-я гл. Симплиций просит о том не мыслить,
Что льет он пули, лишь только свистни.
- 19-я гл. Симплициус снова играет на лютне,
Готов он приняться за старые плутни.
- 20-я гл. Симплиций с наставником ходит по лагерю,
Где в кости ландскнехты играют сполагоря.
- 21-я гл. Симплиций заводит с Херцбрудером дружбу,
Сослужит она им немалую службу.
- 22-я гл. Симплициус видит, как злым наговором
Невинного друга славили вором.
- 23-я гл. Симплициус брату дает сто дукатов,
Дабы откупился от злобных катов.
- 24-я гл. Симплиций речет про два предсказанья,
Кои сбылись наглецу в наказанье.
- 25-я гл. Симплиций становится честной девицей,
Но видит, что то никуда не годится.
- 26-я гл. Симплициус схвачен как хитрый колдун,
Вот-вот придет ему злой карачун.
- 27-я гл. Симплициус спасся в сумятице битвы,
Видит, как профос убит без молитвы.
- 28-я гл. Симплициус зрит: победой увлечен,
Херцбрудер и сам попадает в полон.
- 29-я гл. Симплиций толкует тут о солдате,
Как в Парадиз затесался он кстати.
- 30-я гл. Симплиций был егерем, ан солдатом стал,
Солдатскую жизнь дотошно узнал.
- 31-я гл. Симплиций толкует, как дьявол сало
Скрал у попа и что потом стало.

Первая глава

Симплиций в хлеву глядит исподтиха,

Как гусаку пособляет гусиха

Сидючи в гусятнике, рассудил я о сем предмете и составил себе мнение, равно как о танцах, так и о пьянстве, что было уже мною изложено в первой части «Черного и Белого», и того ради нет нужды здесь более о том распространяться. Однако ж не могу умолчать, что тогда я еще был в нерешимости, впрямь ли те танцоры столь взъярились, что намеревались проломить пол, или же сие было мне только втолковано. Теперь же надлежит мне поведать, как я выбрался из гусятника. Битых три часа, а именно до тех пор, как окончился *Praeludium Veneris*²⁶ (пречестный танец, должен я заметить), принужден был я высидеть в собственной своей скуке, покуда не подкрался кто-то тишком и не зачал побрякивать засовом. Я затаился, словно свинья, что брыжжет в лужу; детина же, возившийся возле дверей, не только открыл их, но и сам проскочил внутрь, и с таким проворством, с каким бы я охотно выскочил наружу; сверх того волочил он за собою сюда за руку женку, подобно тому как довелось мне видеть во время танцев. Я не мог знать, что тут поведется; но понеже в тот самый день привелось дурацкому моему разуму повстречаться со множеством диковинных приключений, то малость к ним приобик и предался на то, чтоб впредь терпеливо и безропотно сносить все, что ниспошлет мне судьба; а посему притулился у двери со страхом и трепетом, ожидая, чем все то кончится. Тотчас же возник промеж них шепот, из коего я, вправду, уразумел только, что одна сторона сожалела о лихой вонии в сем месте (каковая точно происходила из моих штанов), другая ж сторона, напротив, утешала первую. «По чести, прекрасная дама, – сказал он, – я неотменно от всего сердца сокрушаюсь, что завистливая планета не благоприятствовала нам вкусить наслаждение от плодов любви в ином достойнейшем сего месте. Однако ж всем могу вас уверить, что сладостное ваше присутствие производит в мерзостном сем закуте более приятностей, нежели в самом парадизе их имеется». Засим услышал я поцелуи и приметил диковинные позитуры; но не знал, что то было или должно было бы означать, того ради еще более затаился и так тихо, словно мышь. А как поднялся, кроме того, некий забавный шум, и гусятник, сколоченный под наружной лестницей из одних только досок, зачал гораздо и продолжительно трещать, особливо же как бабенка прикидывалась, что при том упражнении соделалась ей немалая боль, то подумал я: «Сие суть двое от тех бешеных людей, кои пособляли проломить пол, а теперь пришли сюда, дабы и здесь одинаково с тем поступить и лишить тебя жизни!» Коль скоро эти мысли полонили мой разум, столь же скоро устремился я к двери, чтобы уйти от смерти, через то и выскочил я со столь жестоким криком, какой, естественно, был подобен тому, что привел меня в сие место; однако ж был я столь проворен, что задвинул за собой засов и стал искать в дому отпертых дверей. То была первая свадебка из тех, на коих довелось мне на своем веку когда-либо гулять, невзирая на то что я не был к ней приглашен и не осмелился поднести подарок, хотя впоследствии новобрачный тем дороже вписал мне ту пирушку в счет, какой я своим чередом честно оплатил. Благосклонный читатель, я поведал сию историю не затем, чтобы ты вдосталь над ней посмеялся, но для того, чтобы рассказ мой был отменно полон и ты, читатель, уразумел, какие честные плоды от танцев ожидать можно. И в том я точно уверен,

²⁶ Прелюдия Венеры (*лат.*).

что во время танцев производят такие негодные и бездельнические сделки, коих потом вся честная кумпань принуждена стыдиться.

Вторая глава

Симплиций речет, в кою пору мыться,

Дабы вреда не могло приключиться

Хотя таким образом я преблагополучно утек из гусятника, однако ж теперь только приметил свое несчастье, ибо штаны мои были полнехоньки, и я не ведал, куда с такой проносной кашей деваться. В покоях моего господина было все тихо и сонно; а посему я не осмелился приблизиться к страже, что стояла перед домом; а в главной караульне, или *corps de garde*²⁷, меня бы не потерпели, ибо от меня шла непомерная вонь; оставаться в проулке было невмочь от холода, так что я не знал, куда притулиться. Было далеко за полночь, когда взошло мне на ум, что надобно поискать прибежище у многократно помянутого священника. Следуя сему благоизобретению, застучал я в дверь и был столь досадителен, что под конец служанка нехотя меня впустила. Но когда она расчихала, с чем я пришел (ибо долгий ее нос тотчас же донес ей о моей тайности), то стала еще сердитей. Того ради зачала она со мной лаяться, каковую перебранку скоро слышал священник, который к тому времени почитай что уж выспался. Он кликнул нас обоих и велел подойти к постели, как если бы и сам пожелал приобщиться к доброму тому запаху. Но коль скоро он приметил, где раки зимуют, то наморщил нос, сказав, что, невзирая на все предписания календарей, нет ничего лучшего в моем теперешнем состоянии, как помыться. Он приказал служанке, вместе с тем как бы ее упрасивая, выстирать, покуда не настал полный день, мои штаны и повесить возле печи в каморке, а меня уложить в постель, ибо видел, что я совсем заоченел от морозу. Едва я обогрелся, как начало светать, и священник поднялся с постели, чтобы проведать, как мне можется и как справлены мои дела, ибо моя рубаха и штаны были еще мокрехоньки и я не мог встать и подойти к нему.

Я поведал ему обо всем и объявил споначалу о том искусстве, какому обучил меня мой товарищ и сколь худо оно оборотилось. Далее рассказал я, что гости, после того как он, священник, отошел прочь, совсем вздурились и (поелику меня в том уверил мой камрад) вознамерились проломить в доме пол; *item* какому устрашительному подпал я страху и каким родом пытался спастись от погибели, за что, однако, был заточен в гусятник, а также какие речи и деяния довелось мне в оном слышать от тех двоих, что меня снова освободили, и каким образом я их обоих вместо себя там запер. «Симплиций, – вскрикнул священник, – вшивое твое дело! Тебе тут изрядно повезло, однако ж я в опасении, ахти как я опасуюсь, что ты все пустил по ветру. А ну, скорехонько вылезай из постели да проваливай отсюда, чтобы и мне не попасть вместе с тобой в немилость к твоему господину, когда накроют тебя в моем доме». Итак, принужден был я уйти в мокром платье и впервые испытать, в какой чести у всякого тот, кто приобрел благоволение своего господина, и как, напротив того, все глядят на него косо, когда милость сия поколеблена или пошла прахом.

Я отправился в покои моего господина, где все еще спали непробудным сном, кроме повара и нескольких служанок. Сии последние прибирали комнаты, в коих вчера шла пирушка, а повар пережаривал остатки на завтрак или, лучше сказать, на закуску.

Допрещь всего забрел я к девушкам: там повсюду было навалено битое стекло как рюмочное, так и оконничное, а кое-где полно тем, что выходило у гостей верхом и низом, а в иных

²⁷ Кордегардии, гауптвахте (*фр.*).

местах стояли превеликие лужи от расплеснутого вина и пива, так что пол уподоблялся некоей ландкарте, на коей изображены и представлены очам различные моря, острова и надежные сухие материки, куда может ступить стопа человека. Вонь же стояла во всем покое куда несноснее, нежели в моем гусятнике; того ради пребывание мое там было недолгим; я отправился на кухню досушивать у огня свое платье прямо на теле, со страхом и трепетом ожидая, как-то обернется ко мне Фортуна, когда господин мой проспится. При сем размышлял я о глупости и неразумии мира, представляя себе все, что приключилось со мной прошедшим днем и сей ночью, а также все, что довелось мне, кроме того, видеть, слышать и испытать. И сии мысли произвели во мне то, что я пожелал воротить себе ту скудную и бедственную жизнь, которую я вел с отшельником и теперь почитал за счастливейшую.

Третья глава

Симплиций пажу отплатил за науку,

Поведав, какую сыграл он с ним штуку

А когда господин мой поднялся с постели, то послал лейб-егеря привести меня из гусятника; сей принес ведомость, что нашел двери раскрытыми, а позади засова прорезана ножом дыра, посредством коей заключенный и освободил себя. Однако ж еще до того, как пришло сие известие, поведал мой господин от других, что я уже давненько сижу на кухне. Меж тем повсюду были разсланы слуги, чтобы собрать к завтраку вчерашних гостей, в том числе и священника, коему было велено явиться пораньше прочих, ибо господин мой пожелал иметь с ним обо мне беседу до того, как все усядутся за стол. Сперва спросил он священника, как, по его разумению: смышлен я или с придурью, или же столь прост, или же, напротив, столь злонаправен, и поведал ему затем все, сколь бесчинно вел я себя прошедшим днем и вечером как за столом, так и во время танцев, что некоторые из его гостей дурно приняли и в худую сторону истолковали, – будто бы все сие с умыслом и к нарочитому их афронту было подстроено; и тем что он, дабы обезопасить себя от подобной насмешки, какую я еще мог учинить, велел запереть меня в гусятник, откуда я, однако, выбрался и теперь обретаюсь на кухне, словно дворянчик, коему не надлежит больше ему прислуживать; отродясь не доводилось ему перенести такую шутку, какую сыграл я над ним в присутствии толикого множества почтенных людей, а посему поступит со мной не иначе, как подав мне хорошую порку, и так как я кажусь ему теперь столь глупым, то и прогонит меня ко всем чертям.

Меж тем как господин мой так на меня жаловался, мало-помалу собрались гости. А когда он все выговорил, то священник ответил, что ежели господину губернатору будет угодно уделить ему короткое время и выслушать его с малым терпением, то он мог бы порассказать о делах Симплиция немало забавного, чудней чего и придумать нельзя, а притом не только откроется совершенная его невинность, но и те, кои по причине его поступков почли себя оскорбленными, отложат все неправые мысли. Сие было ему дозволено, однако ж с тем, чтобы произошло это за столом, дабы вся кумпань получила надлежащую от того потеху.

Когда наверху в покоях шла обо мне беседа, то на кухне поладил со мною сумасбродный фендрик, кой сам друг заперт был в гусятнике заместо меня, и угрожающими словами, а также талером, сунутым мне в руку, добился того, что я обещал ему помалкивать о его делишках. Стол был накрыт и, как в прошедший день, уставлен кушаньями, а за ним полным-полно гостей. Полынное, шалфейное, девятисиловое, квитоловое и лимонное вино вместе с гиппократовой настойкой должны были вновь ублажать их головы и желудки; ибо были они почитай что все чертовы мученики. Первая их беседа пошла о самих себе, а именно, как они вчера изрядно друг друга накачали, однако ж не сыскалось среди них ни одного, кто б захотел сознаться, что был полон до краешков, хотя повечеру и клялись они, подчас даже черным словом, что не могут боле в себя вместить, и паки и паки восклицали: «Вино – мой господин!» Некоторые, правда, признавались, что они под изрядным хмельком, другие же уверяли, что как только малость захмелели, то уже больше не упивались. Когда же прискучило им толковать и слушать о собственных дурачествах, то пришлось претерпеть и бедному Симплицию; губернатор сам напомнил священнику, что ему надлежит объявить о различных забавных вещах, как он обещал.

Сей сперва попросил не поставить ему в вину, ежели он принужден будет употребить слова, кои могут быть сочтены не приличествующими его духовному сану, и повел свой рассказ споначалу о том, по какой естественной причине терзали меня внутренние ветры, и какую учинил я через то непристойность секретарю в канцелярии, и какому искусству вместе с ворожбою был обучен, и как худо поставил его на пробу; *item* сколь странными показались мне танцы, понеже ничего подобного я никогда не видывал; и какое на вопрос о сем получил я от моего камрада объяснение, по какой причине я вцепился в благородную даму и попал в гусятник. Все сие, однако ж, изъяснил он благопристойнейшим образом, так что все чуть не полопались от смеху, оправдав притом мою простоту и неразумение столь обходительно, что я снова вошел в милость у моего господина и был допущен прислуживать за столом; однако ж о том, что приключилось со мною в гусятнике и каким образом я из него выбрался, он не захотел сказывать, ибо опасался, как бы не ожесточились против него некие сатурнические бараньи лбы, кои мнят, что духовным всегда подобают одни только кислые мины. Напротив того, мой господин, чтобы позабавить гостей, спросил меня, чем же я заплатил моему товарищу за то, что он обучил меня опрятному сему искусству, а как я ответил: «Ничем», то он сказал; «Ну, так я ему уплачу сполна за твое ученье», – и велел тотчас же разложить его на кобыле и всыпать ему горячих тем же родом, как было со мною прошедшим днем, когда я испытывал сие искусство и нашел его неверным.

Теперь господин мой был довольно уведомлен о моей простоте, а посему пожелал так меня настроить, чтобы еще больше потешить себя и своих гостей; он изрядно усмотрел, что музыканты и в грош не идут, покуда я под рукой, ибо дурацкими своими выходками я мог за пояс заткнуть целый оркестр. Он спросил, чего ради я, сидючи в гусятнике, прорезал дверь и дал тягу. Я ответил: «То, верно, соделал кто другой». Он спросил: «Кто ж тогда?» Я сказал: «Верно, тот, кто ко мне пришел». – «А кто к тебе пришел?» Я ответил: «О том я никому не смею сказать». Мой господин был проворен разумом и отлично видел, как меня провести: того ради опередил он меня в мыслях и спросил: «Кто же тебе заказал сие сказывать?» Я не медля отвечал: «Сумасбродный фендрик!» Однако ж по общему смеху тотчас же заметил, что сделал большую промашку, а сидевший вместе со всеми сумасбродный фендрик стал красен как рак, и когда бы я не пожелал болтать дальше, то он бы мне сие охотно дозволил. Но моему господину стоило только вместо приказа кивнуть сумасбродному фендрику, и я уже смело мог объявить обо всем, что знал. Потом спросил меня господин: «За каким делом пришел сумасбродный фендрик к тебе в гусятник?» Я ответил: «Он привел туда девицу». – «А что же учинил он далее?» – спросил господин. Я ответил: «Мнится мне, что он собирался в том хлеву помочиться». Мой господин спросил: «А что при сем творила девица? Неужто она не застыдилась?» – «Вестимо нет, господин, – сказал я, – она задрала юбку и захотела к сему (мой высокочтимый, скромность, целомудрие и добродетель возлюбивший читатель, прости неучтивому моему перу, что пишет оно столь грубо, как я тогда молвил) подложить». Через то поднялся среди всех присутствующих такой хохот, что господину моему не стало возможности меня слышать, не говоря уже о том, чтобы выспрашивать далее; правда, то было более и не надобно, ибо тогда честная и благонравная девица (*scil.*²⁸) также подпала бы насмешкам.

Засим гофмейстер объявил за столом, что я наемни воротился с болверка, или крепостного вала, и сказал, что мне ведомо, как произвести гром и молнию; я-де видел на таких полутелегах большие стволы, изнутри полые; в них-де запихали луковичные семена вместе с такой белой морковкой, у коей обрезан хвост, после чего стволы малость пощекотали зубчатым колышком, отчего спереди вылетели дым, гром и адское пламя. Они немало еще навывдумывали подобных шуток, так что, почитай, во весь завтрак ни о чем другом, как только обо мне, не говорили и ни над кем другим не смеялись. Сие привело ко всеобщему заключению

²⁸ Scil (scilicet) – разумеется (*лат.*).

на мою погибель, что ежели меня как следует допечь, то со временем сделаюсь я редкостным застольным шутком, коим можно развеселить могущественного властелина и распотешить простого смертного.

Четвертая глава

Симплиций взирает, с коликим нахальством

В Ганау надули большое начальство

А когда собрались все снова, чтобы по вчерашнему пировать и бражничать, то объявили стражники со вручением письма губернатору об ожидавшем у ворот комиссариусе, что был уполномочен повелением от Военной коллегии короны шведской произвести смотр над гарнизоном и визитацию всей крепости. Сие отравило все шутки, и радостный смех вдруг ослабел, как пузырь у волынки, откуда дух вышел. Музыканты и гости рассеялись, исчезая, словно табачный дым, кой оставляет после себя один только запах; мой господин вместе с адъютантом, несшим ключи, поспешно выкатился к воротам в сопровождении отборного отряда стражников и множества факелов, дабы самому принять чернильную крысу, как он его называл. Он сулил, чтобы черт тысячу раз свернул ему шею, прежде чем тот войдет в крепость. Но как только он его впустил и приветствовал, стоячи на внутреннем подъемном мосту, то малого недоставало, чтобы он сам не подхватил стремя, дабы явить совершенную преданность, и взаимные почести в тот миг достигли того, что комиссариус спешился и пошел с моим господином к его ложементу, и тогда каждый пожелал идти по левую руку. «Ах, – подумал я, – сколь удивительно лживый дух управляет людьми, и как он одного с помощью другого обращает в дурня». Мы приблизились таким образом к главной караульне, и часовой окликнул: «Кто там?», хотя и видел, что то был мой господни. Сей не пожелал ответить, уступая честь другому; того ради еще усерднее прикидывался караульный, повторяя свои крики. Напоследок, на последний оклик: «Кто там?» – сказал швед: «Тот, кто дает деньги». А как мы миновали караульню, и я плелся позади, то довелось мне услышать помянутого часового, который был новобранцем, а до сего по ремеслу своему достаточным молодым крестьянином из Фогельсберга, как он проворчал: «Видать, ты прожженный лгунище! Тот, кто дает деньги! Живодер, что берет деньги, вот ты кто! Ты у меня столько их повытянул, что я желаю, чтоб тебя градом побил до того, как ты снова выедешь из городу». С того часу возмел я в мыслях, что сей чужой господин в коротком бархатном камзоле, должно быть, святой, ибо не только не задевают его проклятья, но и ненавидящие его оказывают ему всяческую честь, любовь и приятство; в ту самую ночь его изрядно угостили, напоили до умопомрачения и еще к тому уложили спать в прекрасную постель.

В последующие дни на смотре происходила изрядная кутерьма. Даже я, несмышленный простофиля, был довольно проворен, чтобы мудрого комиссариуса (каковые чины и должности поистине не малым детям вручаются) обмануть и провести за нос, чему я скорее чем в час обучился, понеже и все то искусство в том состояло, чтобы счесть до пяти и до девяти и оное выбивать на барабане, ибо был я еще мал ростом, чтобы презентовать собою целого мушкетера. На сей случай вырядили меня в заемное платье (ибо мои короткие штаны к такому делу не сгодились) и выставили с заемным барабаном, нет сомнения, для того, что и сам-то я весь был заемный; с тем и прошел я смотр благополучно. Но понеже не полагались на мою простоту, что я удержу в памяти непривычное имя, на которое надобно мне откликнуться и выступить вперед, то должен был я остаться Симплициусом; прозвище сочинил мне сам губернатор и повелел внести в списки Симплициуса Симплициссимуса, поставив меня, словно блядина сына, первым в роде, хотя, по собственному его признанию, лицом я был схож на родную его сестру.

Я и впоследствии, до тех пор, пока не узнал настоящее, удержал сие имя и прозвище, под каким нарочито хорошо и сыграл свою роль к немалой выгоде губернатора и невеликой потере для шведской короны, что было единственной службой, какую сослужил я ей за всю свою жизнь, того ради и враги ее не имеют причин на меня злобиться.

Пятая глава

Симплиций чертями в геенну ведом,

Где потчуют бесы гишпанским вином

По отбытии комиссариуса призвал меня тайно в наемный свой покой помянутый священник и сказал: «О Симплиций, я сокрушаюсь о твоей юности, и будущее твое злополучие подвигает меня к состраданию. Внемли, сын мой, и знай точно, что вознамерился господин твой лишит тебя всякого разумения и соделать из тебя дурака, поелику уже повелел он на сей случай изготовить для тебя платье. Поутру будешь ты принужден вступить в ту школу, где назначено тебе оставить разум; в оной, нет сомнения, станут тебя столь жестоко пытаться, что ты, когда только Бог и естественные средства тому не воспрепятствуют, нет сомнения, станешь сумасбродом. Но понеже таковое ремесло сумнительно и опасно, расположился я ради благочестия твоего отшельника и собственной твоей простоты по нерушимой христианской любви оказать тебе необходимым советом и спасительным средством вспоможение и вручить тебе настоящее лекарство. А посему следуй моему наставлению и прими сей порошок, кой такую мерю укрепит мозг твой и память, что ты, не повреждая разума, обретишь силу преодолеть все с легкостью. И еще вот тебе бальзам, натри им себе виски, темя и затылок, а также ноздри, и употреби оба средства вечером, отходя ко сну, поелику ни в едином часе не можешь ты быть уверен, что тебя не подымут с постели. Однако ж смотри и прилежно примечай, чтобы о сем предостережении и переданном тебе снадобье никто не проведал, а не то нам обоим придется худо. И когда подвергнут тебя проклятому сему лечению, не всему внемли и не во все веруй, в чем захотят тебя убедить, однако ж прикидывайся, как если бы ты всему и впрямь верил. Говори мало, дабы приставленные к тебе не приметили, что обмолачивают пустую солому, а не то продлят они твою муку, хотя и не могу я знать, каким родом станут они с тобой обходиться. Однако ж, как обрядят тебя в дурацкое платье и шутовской колпак, то снова приди ко мне, чтобы я мог послужить тебе дальнейшим советом. Меж тем хочу я помолиться всевышнему, дабы сохранил тебе разум и телесное здравие!» После сего вручил он мне порошок и бальзамическую мазь, с чем я и отправился восвояси.

Как сказал о том священник, так и случилось. По первом сие явились к моей постели четверо в ужасающих бесовских личинах; сии скакали вокруг, словно фигляры и масленичные скоморохи; один с раскаленными вилами, другой с факелом; а двое остальных кинулись на меня, сволокли с постели, поплясали со мною несколько времени и силою напялили на меня платье. Я же прикидывался, как если бы почитал их за всамделишных натуральных чертей, поднял прежалостнейший вопль и произвел на лице испуганные кривлянья; но они возвестили мне, что должен я за ними последовать. Затем обвязали они мне голову полотенцем, так что не мог я ни видеть, ни слышать, ни кричать. И повели они меня, бедного простака, дрожавшего, как осиновый лист, различными окольными путями по многим лестницам то вверх, то вниз и под конец завели в погреб, где полыхал большой огонь, и когда развязали меня, то начали потчевать гишпанским вином и мальвазией. Они изрядно втолковали мне, что я помер и днесь нахожусь в преисподней, понеже я прилежно прикидывался, будто я всему тому верю, что они мне нагали. «Пей веселей, – восклицали они, – ведь тебе суждено навеки у нас остаться. А коли не захочешь пристать к доброму кумпанству, то принужден будешь идти в настоящий огонь!» Бедняги притворно меняли голоса и речь, дабы я не мог их узнать; однако ж я тотчас

приметил, что то господина моего фурьеры, но не показал виду, а посмеивался себе в кулак, что те, кому надлежит обратить меня в дурня, сами принуждены быть передо мной дураками. Я пил налитое мне гишпанское вино, однако ж они упивались более меня, понеже оный небесный нектар не часто достается подобным детинам, и я могу еще в том поклясться, что они скорей налились до краешек, нежели я. А когда, по моему разумению, настало надлежащее время, представил я, что шатаюсь туда и сюда, как довелось мне намеренно видеть у гостей моего господина, и под конец вовсе не желал пить, а только спать; напротив того, подкалывали они меня вилами, кои во все время лежали у них в огне, и гоняли по погребу из одного угла в другой, так что мне мнилось, как будто сами они вздурились, ибо должен был я больше пить или, по крайности, совсем не спать. И когда я в такой травле свалился с ног, как я тогда нередко поступал с умыслом, то сгребли они меня снова и прикидывались, будто вознамерились кинуть в огонь. Итак, выпала мне доля сокола, коего неволят без сна, что было для меня тяжким крестом. Правда, в рассуждении упития и сна я бы отлично мог противу них выдержать, однако ж они не оставались все вместе, а сменяли друг друга; того ради под конец привелось мне быть внакладе. Три дня и две ночи провел я в дымном сем погребе, где не было иного света, кроме как от разложенного там огня; оттого голова моя зачала бродить и яриться, как если бы восхотела она лопнуть, так что под конец должен был я измыслить хитрость, чтобы освободиться от той муки и моих мучителей; я поступил, подобно лисице, что брызжет мочой в глаза собакам, когда иначе не надеется уйти от них: и понеже как раз побуждала меня натура отправить нужду (s. v.), в то ж время засунул я палец в глотку, возмутив тем в себе рвоту таким образом, что я сразу учтиво наполнил (моим добром) штаны и заблевал весь камзол, отплатив за ту пирушку нестерпимой вонью, так что, казалось, и черти мои не смогли долее при мне оставаться. Тут завернули они меня в холщовую простыню и прибили столь безжалостно, что у меня чуть было все внутренности и вместе с ними душа не полезли наружу, от чего я толико ослабел и лишился всех чувств, что лежал, подобно мертвому; и я не знаю, что было со мной далее, как если бы лишился я жизни.

Шестая глава

Симплиций внезапно в рай попадает,

Телячье обличье там принимает

А когда пришел я в себя, то обретаюсь уже не в пустом погребке с чертями, а в изрядном зале на попечении трех старух наискарденнейшего вида, каких только когда-либо земля носила. Поначалу, едва приоткрыв глаза, почел я их за натуральных исчадий адовых, однако ж, как я уже перед тем читывал древних языческих поэтов, то принял их за Эвменид или, по крайности одну из них, за Тисифону самолично, коя прибыла из геенны, дабы лишить меня разума, подобно Атаманту, ибо наперед знал, что я для того и был тут, чтобы обратиться в дурня. Глаза у нее были словно блуждающие огни, а меж ними торчал долгий костлявый ястребиный нос, коего конец или острие не иначе как доставал до нижней губы. В пасти ее усмотрел я всего только два зуба, однако были они столь совершенны, длинные, круглы и толсты, что любой из них по виду едва ли не с безымянным пальцем, а по цвету с багряным золотом сравнить было возможно. Одним словом, кости тут имелось довольно на целый рот зубов, только весьма худо ее разделили. Лицом сия старуха походила на кусок кордуанской кожи, а белые ее космы свисали странно всклокоченные, как если бы только что подняли ее с постели. Долгие ее груди ни с чем иным сравнить не умею, как только с двумя ослабелыми и обвислыми бычачьими пузырями, из коих выпущены две трети заключенного в них духу; в конце каждой свисал бурый сосок в полпальца длиной. Поистине вид ужасающий, кой ничем иным послужить не мог, как изрядным средством от безрассудной горячности похотливых козлов. Другие две были нимало не красивей, не считая сплюснутых обезьяньих носов и несколько пристойнее надетых платьев. А когда я малость опомнился, увидел я, что то наша судомойка, а те две фурьерские женки. Я притворился, будто разбит всем телом и не могу пошевелиться, как и вправду не было у меня тогда охоты пуститься в пляс, когда сии честные старые мамушки догола меня раздели и, словно новорожденного младенца, омыли от всякой скверны. Однако ж производили сие с отменной мягкостью; во время какой работы оказали они великое терпение и преизящное милосердие, так что я им чуть не объявил, как ладно еще обстоят мои дела. Однако ж подумал: «Э, нет, Симплиций! не должно иметь тебе доверенность ни к одной старой бабе, а подумать надобно, что и то будет немалая victoria²⁹, когда сможешь ты при своей младости провести трех прехитрых старых потаскух, коим только с чертями в свайку играть; и в случае сем почерпнешь упование, что, возрастая в летах и придя в совершенный возраст, достигнешь ты еще большего». А как тем временем покончили они со мной, то уложили в изрядную постель, где я и уснул без всякого укачивания; они же пошли и унесли с собою вместе с моим платьем и прочими нечистотами бадейки и прочую утварь, в чем они меня обмывали. По моему рассуждению, провел я в беспрестанном сне более суток; и когда я вновь пробудился, у изголовья моего стояли два крылатых отрока в белых рубашках, великолепно изукрашенных тафтяными лентами, жемчугом, драгоценностями, золотыми цепями и другими взрачными предметами. Один держал золоченый умывальный таз, наполненный доверху вафлями, блинчиками, бисквитами, марципанами и разными другими заедками, а у другого в руках был золоченый кубок. Сии ангелы, как они себя объявляли, восхотели меня уверить, что отныне я обретаюсь в раю,

²⁹ Победа (лат.).

ибо столь счастливо претерпел в чистилище и от черта вместе с его матушкой навеки избавился; того ради надлежит мне только требовать, чего душа моя желает, поелику, что только мне любо, всего у них вдосталь или же в полной их власти сюда доставить. Жажда обуревала меня, и понеже видел я перед собой кубок, то пожелал только пития, что и было мне подано более чем благосклонно. Однако ж было то не вино, а приятный сонный напиток, который я неукоснительно проглотил, и оттого снова заснул, как только он во мне согрелся.

На следующий день пробудился я вновь (ибо спал до той самой поры), однако же обрел себя уже не в постели, не в прежнем зале с ангелами и еще того менее в самом царствии небесном, а в моем старом гусятнике. И была там паки тьма кромешная, как в недавнем погребце; и сверх того было на мне платье из телячьей шкуры шерстью наружу; штаны были на польский или швабский лад, а камзол еще того нарядней и сшит на дурацкий манер. А сверху напялили на меня до самой шеи колпак наподобие монашеского капюшона, украшенный парой красивых больших ослиных ушей. Я сам принужден был рассмеяться на злосчастную мою планету, ибо по гнезду и перьям тотчас приметил, какой птицей надлежит мне стать. Тогда-то впервые начал я размышлять о самом себе и о лучшем своем уделе, и как было у меня довольно причин, дабы возблагодарить вышнего за то, что сохранил он мне разум в полном здравии, а также с великим усердием обратиться к нему с молением, чтобы и впредь он меня охранял, направлял и провождал. Я положил намерение придерживаться шутовства, как только возможно, и терпеливо ожидать, что еще ниспошлет мне судьба.

Седьмая глава

Симплиций в телячьем чине исправен,

Стал меж людьми и скотами славен

Посредством дыры, кою прежде сего прорезал в двери сумасбродный фендрик, легко мог бы я освободить себя; но, понеже надлежало мне быть дурнем, оставил я сие втуне и не только поступил, как дурак, который не столь смышлен, чтобы уйти самому, но и прикинулся голодным телятей, что скучает по матери. Мое мычание вскорости было услышано теми, кто к сему был приставлен, ибо двое солдат подошли к гусятнику и спросили: «Кто там?» Я отвечал: «Вы, дурни, али не слышите, что здесь теленок?» Они отперли хлев, вывели меня наружу и дивились, что теленок может речь вести, и сие пристало им, как принужденные ужимки новоиспеченному неискусному комедианту, когда он персону, которую надлежит изобразить, не весьма-то ловко представляет, так что я подумывал, не должен ли я им в той шутке прийти на помощь. Они посоветовались, что надлежит предпринять, и согласились на том, чтоб поднести меня губернатору, а он их богаче одарит, нежели б заплатил им за меня мясник, ибо я разумею говорить. Они спросили, ладно ли идут мои дела. Я ответил: «Отменно худо!» Они спросили: «Отчего ж?» Я сказал: «Да оттого, что здесь в обычае честных телят запираеть в гусятник! Надлежит вам, детинам, ежели того хотите, ведать, что предстоит мне вырасти достославным быком, так что и воспитать меня должно, как то честному тельцу приличествует». По окончании краткого сего дискурса отвели они меня проулком прямо в губернаторов дом; за ними следовала превеликая толпа мальчишек, и так как они, подобно мне, мычали по-телячьему, то слепец на слух заключить мог, что мимо гонят стадо телят; однако ж по виду было то сборищем старых и молодых дурней.

Итак, двое тех солдат презентовали меня губернатору, как если бы во время фуражировки заполучили меня в добычу. Он одарил их деньгами на пропой, мне же посулил, что я получу от него еще лучшие вещи. Я помыслил, как малый у золотаря, и сказал: «Добро, господин, однако ж не следует замыкать меня в гусятник, ибо мы, телята, того не сносим, когда надлежит нам возрасти в добрую рогатую скотину!» Губернатор наилучшим образом обнадежил меня и почел себя великим искусником, что сотворил из меня презабавного дурака; я же, напротив, думал: «Эге, любезный мой господин, помедли малость; я претерпел огненную пробу и в ней закалился; теперь давай испытывать, который из двух проведет другого за нос!»

Меж тем некий злополучный мужик гнал скотину на водопой; как только я сие увидел, то оставил губернатора и поспешил с телячьим мычанием за коровами, как если бы захотел сосать вымя. А те, едва я к ним приблизился, ужаснулись меня сильнее, нежели волка, хотя и был я облачен в ихнюю шкуру. И они так всполошились и разбежались во все стороны, как если бы в августе бросили посреди их гнездо, полное шершней, так что хозяин уже не смог согнать их вместе, что произвело немалую потеху. В мгновение ока сбежалась толпа народу, чтобы поглазеть на шутовское сие представление, и мой господин смеялся так, что чуть не лопнул, а потом сказал: «От одного дурня сотня других родится». Я же помыслил: «Ухвати за нос, да самого себя, ибо ты как раз тот, о ком речь держишь».

Подобно тому как всяк с того времени называл меня Теля, так и я, в свой черед, величал каждого особливвым насмешливым прозвищем; оные были, по мнению многих, а паче всего по рассуждению моего господина, весьма метки, ибо каждого окрестил я, как то требовало его

свойство. Одним словом, всяк почитал меня за неразумного дурня, а я каждого за отменного дурака. Сей обычай, как я заметил, употребителен еще и поныне, поелику всякий доволен своим умом и мнит себя разумнейшим среди всех прочих, хотя и не лживо сказано: «Stultorum plena sunt omnia»³⁰.

Сказанная потеха, какую учинил я с мужиковым стадом, скоротала нам и без того короткое утро; ибо стояла тогда зима как раз у самого солнцеворота. За обеденным столом прислуживал я, как и прежде, но вместе с тем выкидывал диковинные коленца; и как пришел черед меня накормить, то никто не мог меня принудить отведать какого-либо блюда или напитка, что на потребу людям: я просил только травы, какую достать в то время было никак невозможно. Господин мой повелел принести от мясника две свежие телячьи шкуры и обрядить в них двоих отроков. Сих посадил он ко мне за стол и угостил нас по первому блюду зимним салатом, приказав нам оказать над ним свою храбрость; также повелел он привести живого теленка и с помощью соли приохотить его к салату. Я уставился оцепенелыми очами, как если бы весьма тому дивился, но стоявшие вокруг увещевали меня к сему присоединиться. «Добро, – говорили они, видя такую мою непреклонность, – в том ведь нет новости, когда телята жрут мясо, рыбу, сыр, масло и пр. Чего? Подчас доводится им и допьяна напиваться. Теперь скотам довольно ведомо, что есть добро». – «Да, – сказали они засим, – ныне уж до того дело дошло, что меж ними и людьми весьма малое различие находят: чего ради захотел ты один тому не последовать?»

Я тем скорее дозволил себя в том уверить, что меня томил голод, а не для того только, что я сам довольно уже видел, как частью люди здесь были грязнее свиней, свирепее львов, похотливее козлов, завистливее собак, необузданнее кобыл, бесстыжее ослов, невоздержаннее в питии быков, хитрее лисиц, прожорливее волков, дурачливее обезьян и ядовитее змей и жаб, однако ж все вкушали человеческую пищу и только обликом своим отличались от зверей, наиначе же не доставало им невинности теляти. Я вместе с братьями моими телятами уписывал за обе щеки, как повелевал мне аппетит, и когда б какому чужестранцу ненароком довелось увидеть нас, сидящих рядышком за столом, он, нет сомнения, вообразил бы, что вновь воскресла старая Цирцея и обращает людей в скотов, каковое искусство мой господин знал и в оном тогда упражнялся. Тем же порядком, каким свершил я обед, был мне собран и ужин. И подобно тому как мои сотрапезники, или объедалы, оказывали над кушаньями свою храбрость, дабы и я примеру их следовал, также принуждены были они отправиться со мною в постель, ибо господин мой не соглашался, чтобы я снова ночевал в хлеву; и я поступил так, дабы те, что возомнили, будто им удалось обратить меня в дурака, сами довольно были мною подурачены, и твердо из того заключил, что всеблагий Бог каждому человеку в том звании, к какому Он его назначил, столько дает и ниспосылает ума, сколько для того надобно, дабы он сохранил себя, а посему иные ученые мужи совсем напрасно воображают, они-де одни умны и ко всякой бочке затычка; ну нет: и за горами, за лесами тоже сами с усами!

³⁰ «Всюду полно глупцов» (лат.).

Восьмая глава

Симплиций о памяти слышит прение,

Потом суждение про забвение

Поутру, когда я пробудился, обеих моих сотеляток и след простыл; того ради поднялся я с постели, и когда адъютант взял ключи, чтобы отпереть городские ворота, то проскользнул в дверь и отправился к сказанному священнику. Ему поведал я обо всем, что со мной приключилось как на небе, так и в преисподней. И он, узрев, что меня обуревают раскаяние, ибо я, прикинувшись дурнем, обманул столько людей и особливо моего господина, сказал: «О сем нимало не печалуйся, глупый свет с великою охотою вдается в обман. Ежели ты еще сохранил ум, то обрати его себе во благо и возблаговари Господа, что ты все превозмог, каковой дар бывает ниспослан не всякому. Вообрази себе, что ты, подобно Фениксу, возродился из огня от Неразумия к Разуму и, следовательно, к новому человеческому житию. Но памятуй, что ты еще не вышел сухим из воды, а лишь с опасностью для твоего рассудка схоронился под дурацкую эту личину; времена ныне настали шаткие, никто не может поручиться, доведется ли тебе с этой личиною расстаться, не утратив при сем и самой жизни. Скоро и споро провалиться в преисподнюю, а вот чтобы выкарабкаться оттуда, потребно немало попотеть да попыхтеть. Ты ведь еще гораздо юн и неискушен, чтобы избежать предстоящих тебе опасностей, как ты, видать, уже вообразил. А посему осторожность и рассудок тебе еще более надобны, нежели в то время, когда ты еще не различал, что есть Разум и что есть Неразумие. Положись на волю божию, молись прилежно, пребывай в смирении и терпеливо ожидай грядущих превратностей».

Сей дискурс его со мною был нарочито столь несхож с прежнею его беседою, что я подумал, уж не написано ли у меня на лбу, сколь возомнил я о себе, раз мне удалось с помощью его искусства учинить столь мастерский обман и проскочить невредимым. Я же, напротив того, заключил по его лицу, что он в гневе и в немалой на меня досаде; да и какой ему был от меня прибыток? Того ради переменил и я свою речь и принес ему великое благодарение за превосходное средство, какое он вручил мне для сохранения разума, и я даже давал несбыточные обещания со всею благодарностью вознаградить его за все, в чем только был перед ним в долгу.

Сие польстило ему и привело в иное расположение духа; ибо он тотчас же стал изрядно выхвалять свое снадобье и поведал мне, что Симонид Меликус изобрел, а Метродор Сцепсий немало положил трудов, дабы привести в лучшее совершенство такое искусство, посредством коего он может научить людей все, что они единый раз слышали или прочитали, повторить слово в слово, а это, сказал он, без того крепительного для головы лекарства, какое он мне дал, никак невозможно. «Эва, – помыслил я, – любезный отче, в бытность мою у отшельника я в собственных твоих книгах читывал совсем иное, в чем состоит Сцепсиево искусство изошрения памяти!» Однако ж был настолько лукав, что о том не обмолвился; ибо когда дело доходило до правды, то я, с тех пор как мне назначено было сделаться дураком, стал смышлен и в речах своих опаслив. Он же, священник, продолжая свою речь, сказывал, что Кир каждого из 30 000 своих воинов звал по настоящему его имени. Люций Сципион мог поименовать всех граждан Рима, а Киней, посол Пирров, на другой же день по прибытию в Рим мог надлежащим образом перечислить имена всех сенаторов и всадников. «Митридат, царь Понта и Вифинии, – уверял священник, – властвовал над народами, глаголящими на двадцати двух языках, и мог, как о том пишет Сабелик, lib. 10, cap. 9, всем и каждому порознь оказать справедли-

вость на их наречии. Ученый грек Хармид говорил наизусть всем, кто желал узнать что-либо из книг, наполняющих целую Вифлиофику, когда бы только один раз бегло прочитал их. И Люций Сенека мог перечислить наизусть две тысячи имен и в том же порядке, как они перед тем ему насказаны, и также, по словам Ревизия, двести стихотворений, прочитанных перед ним двумястами школяров, от последнего до первого. Ездра, как о том пишет Euseb. lib. temp. fulg. lib. 8, cap. 7, знал наизусть Пятикнижие Моисеево и мог диктовать его слово в слово переписчикам. Фемистокл изучил персидский язык за один год. Красс в Азии отменно говорил на пяти различных греческих наречиях и мог на них судить своих подчиненных. Юлий Цезарь в одно и то же время читал, диктовал и давал аудиенцию. Об Элии Адриане, Порции Латроне и других римлянах и не буду ничего говорить, скажу только о святом Иерониме, что он знал еврейский, халдейский, греческий, мидийский, арабский и латинский. Пустынножитель Антоний с одного только слуха знал наизусть всю Библию. Также приведено в Colerus, lib. 18, cap. 23 из сочинений Марка Антония Муретуса о некоем корсиканце, который, выслушав шесть тысяч человеческих имен, мог затем в надлежащем порядке быстро их все повторить».

«Все сие говорю я для того, – сказал далее священник, – дабы ты не почел несбыточным, что с помощью медицины память человеческая изрядно укреплена и сохранена быть может, как и, напротив того, различным образом ослаблена или даже истреблена вовсе, понеже Plinius, lib. 7, cap. 24 изъясняет, что ничем так не слаб человек, как памятью, и что от болезней, испуга, страха, забот и скорбей она либо исчезает вовсе, либо теряет большую часть своей силы.

Так об одном ученом афинянине можно прочесть, что он, после того как на него упал камень, перезабыл все, чему когда-либо научен был, даже азбуку. А другой свалился с башни и стал через то столь забывчив, что не мог назвать по имени друзей и близких родственников. А еще один был ввергнут болезнью в такое беспмятство, что позабыл имя слуги своего; Мессала Корвин не помнил своего собственного имени, а обладал прежде изрядной памятью. Шрамханс в fasciculo Historiarum, fol. 60³¹, пишет (однако ж тут столько прилгано, как если бы то писал сам Плиний), что некий священник пил собственную свою кровь и через то разучился писать и читать, прочую же память сохранил неповрежденною; и когда он по прошествии года на том же самом месте и в то же самое время паки испил той же крови от жил своих, то снова мог писать и читать, как и прежде. По правде, более с истиною схоже, что пишет Погани Вирус в de praestigiis daemon., lib. 3, cap. 18, будто тот, кто съест медвежьей мозги, преисполняется толикими бреднями и превеликими фантазиями, что ему мнится, будто он сам медведем сделался, и сие подтверждает пример испанского дворянина, кой, после того как их отведал, скрылся в лесную чащу и не мнил о себе иначе, как о медведе. И когда бы, любезный Симплициус, твой господин знал бы о сем искусстве, то скорее, подобно Каллисто, превратил бы тебя в медведя, нежели, подобно Юпитеру, в тельца».

Подобных вещей священник насказал мне немало и снова дал мне некую толику лекарства, наставив, как вести себя впредь. С тем я и отправился восвояси, приведя с собою, почитай, сотню мальчишек, которые бежали за мной следом и мычали, как телята; того ради господин мой, только что пробудившийся, подошел к окну и, увидев зараз столько дурней, изволил от всего сердца рассмеяться.

³¹ Пучке рассказов (лат.).

Девятая глава

Симплиций многим на забаву лицам

Похвальную речь сочиняет девицам

Едва я воротился домой, как должен был пойти в Губернаторовы покои, ибо у моего господина находилась благородная госпожа, коя превеликую возымела охоту повидать и услышать новоиспеченного дурня. Представ перед ними, я воззрился, словно немой, а посему той девице, которую намеренно ухватил во время танцев, подал причину сказать, ей-де наговорили, что теленок сей умеет речь вести, а теперь она примечает, что то неправда. Я ж отвечал: «А я, супротив того, думал, что обезьяны не могут речь вести, теперь же изрядно слышу, что в том ошибся». – «Неужто, – воскликнул мой господин, – ты считаешь сих дам обезьянами?» Я ответил: «Когда они не обезьяны, то вскорости ими сделаются: кто знает, что может стрястись; я ведь тоже не знал, что стану теленком, а вот ведь стал!» Мой господин спросил, из чего же я заключаю, что они должны сделаться обезьянами. Я ответил: «У нашей обезьяны оголена задница, а у этих дам уже груди, тогда как честные девицы обыкновенно имеют их прикрывать». – «Ах ты, бездельник! – воскликнул мой господин. – Ты глупый теля, оттого такое и болтаешь. Сии по справедливости дают зреть то, что зрения достойно, обезьяна же нага оттого, что ей негде взять одежи. Живо искупи свою вину, в чем нашкодил, а не то я попотчую тебя плетьюми и велю затравить собаками в гусятник, как поступают с теми телятами, что не умеют вести себя подобающе. Дай услышать, можешь ли ты воздать достойную хвалу даме и описать ее красоту, как то ей подобает?» Засим оглядел я ту даму с ног до головы и опять с головы до пят, она же взирала на меня столь пристально и с такою приятностию, словно я собирался на ней жениться или еще раз обхватить. Наконец я сказал: «Господин, теперь я неотменно вижу, в чем тут промашка, во всем виноват плут портняжка; он всю материю, что назначена была для шеи и должна была прикрыть грудь, пустил в юбку, оттого-то она и влачится сзади; надобно нерадивому плуту поотрубить руки, ежели он не горазд шить лучше. Девица, – сказал я, обратившись к ней самой, – гони его в шею, когда не след ему тебя так уродовать, да постарайся сыскать портного моего батьки, зовут-то его мастер Павел, он ладно справил моей матке, нашей Анне да Урселе такие-то юбчонки, подолом ровненьки, да все в складках и не волочились по грязи, как твои. Ты и не поверишь, какие нарядные платья мог он шить кичливым потаскушкам, в коих они красовались, словно Бартель». Мой господин спросил: а были ли Анна и Урселе у моего батьки красивее этой девицы? «Вестимо нет, господин! – сказал я. – Ведь у сей девицы волосы такие желтые, словно пеленки замаранные, а пробор на голове такой белый и прямой, словно на кожу наклеили белую свиную щетину; да волосы у нее так красиво скручены, что схожи с пустыми трубками, или как если бы кто повешал с обоих боков по несколько фунтов свечей или по дюжине сырых колбас. Ах, гляньте только, какой красивый, гладкий у нее лоб; разве не выступает он нежнее, чем самая жирная задница, и не белее ли он мертвого черепа, много лет под дождем провисевшего? Вот жалость, что нежная ее кожа столь мерзко загажена пудрою, ибо когда б увидали ее люди, не имеющие о сем понятия, то, верно, возомнили бы, что девица эта шелудивая от рождения и оттого кожа у нее так шелушится, что было бы еще большею бедою для ее глаз, кои, по правде, чернеют и мерцают яснее, чем сажа на челе батькиной печи, а она так и сверкала, когда Анна растапливала печь соломою, словно было в ней заключено чистое пламя, готовое зажечь весь свет. Щеки сей девы так-то славно

румяны, однако ж не столь красны, как намедни новые шнуры да ремни у швабских возчиков из Ульма. Однако ж краска на ее устах и ту далеко превосходит, а когда она смеется или что промолвит (прошу, господин, только взглянуть на нее со вниманием), то в пасти у нее торчат два ряда зубов, один к одному, все-то белые как сахар, словно их настрогали из редьки. О дивное творение, я не верю, что ты можешь причинить кому-нибудь боль, когда укусишь! А шея-то у нее, почитай, такая же белая, как стоялое кислое молоко, а груди, что пониже, такого же цвета и, нет сомнения, такие же тугие, как козье вымя, от молока раздувшееся. Уж, верно, не такие дряблые, как у тех старух, что намедни, когда я был на небе, обмывали мне задницу. Ах, господин, гляньте только на ее руки и пальцы, они такие-то тонкие, такие-то длинные, такие-то гибкие, такие-то проворные и так искусны, натурально, как намедни у цыганок, чтобы ловчее было запустить в карманы, когда надумают что-нибудь выудить. Но что все это супротив самого тела, хотя я и не видел его нагим! Разве оно не столь нежно, прелестно и субтильно, как если бы ее восемь недель кряду несла матушка Катарина?» Тут поднялся столь зычный смех, что уже нельзя было ни мне говорить, ни меня услышать, с тем я и притих, словно голландец, и до тех пор позволял над собою потешаться, покуда мне это не прискучило.

Десятая глава

Симплиций речет о героях смелых

И о мастерах, в ремесле умелых

Засим последовал обеденный стол, во время коего я снова изрядно показал себя, ибо положил за правило порицать все дурачества и казнить всякую суетность, к чему тогдашнее мое положение весьма было удобно; ни одного сотрапезника не оставил я без того, чтобы не упрекнуть и не укорить его пороками, и когда кому сие было не по нраву, то его еще подымали на смех другие или же мой господин ему указывал, что ни один мудрец на дурака не досадует. Сумасбродного фендрика, который был злейшим моим врагом, я тотчас же вытащил на свет божий и прокатил на осле. Однако ж первый, кто по знаку моего господина возразил мне с разумением, был секретарь; ибо когда я нарек его кузнецом титулов и, высмеивая суетные титулы, спросил, а как титуловать праотца всех людей, он отвечал: «Ты болтаешь, как неразумный теля, ибо не ведаешь, что после первых наших прародителей жили различные люди, кои редкостными добродетелями, мудростью, геройскими деяниями, а также изобретением добрых художеств себя и род свой толико возвысили, что и другие вознесли их превыше всех земных вещей и даже звезд до самых небожителей. Был бы ты человек или же, по крайности, читал бы, как человек, историю, то уразумел бы различие, которое существует меж людьми, и охотно придавал бы всякому надлежащий ему честной титул; но понеже ты теленок и человеческой чести не причастен и не достоин, то и рассуждаешь о сих вещах, как глупый теля, и не воздаешь благородному человеческому роду того, что исполняет его веселием». Я отвечал: «Я был человеком, таким же, как и ты, и порядком читывал в книгах, а посему могу заключить, что ты сам либо не вник в спор надлежащим образом, либо твоя корысть понуждает тебя говорить иначе, чем ты разумеешь. Скажи мне, какие надобно совершить геройские деяния и похвальные изобрести художества, дабы их достало на несколько сот лет возвеличить целый род после смерти самого героя или художника? И разве то и другое: сила героя, мудрость и высокое разумение художника не умирают вместе с ними? И коли ты сего не разумеешь, а доблести родителей на детей переходят, то принужден я заключить, что отец твой был палтусом, а мать камбалою». – «Ба, – отвечивал секретарь, – коли на то пошло, коли нам честить друг друга, то я мог бы укорить тебя, что твой батька был грубый шпессертский мужик, и хотя в родне и на родине твоей изрядных пентюхов уродилось довольно, однако ж, сделавшись неразумным телятею, ты и вовсе себя унижил». – «Вот дело! Тут-то я тебя и прищучил, – сказал я, – да ведь сие как раз и есть то, что я доказать хочу, что добродетели родителей не всегда на детей переходят, а посему и дети почетных титулов родителей своих не всегда достойны. По правде, мне нет в том сраму, что я стал теленком, ибо в сем случае выпала мне честь самому могущественному царю Навуходоносору последовать. Кто знает, не будет ли угодно Богу, чтобы и я, как Он, снова стал человеком и притом еще больше возвысился, нежели мой батька? Для того прославлю я тех, кто через собственную свою добродетель учинили себя благородными». – «Допустим, но не признаем, – рек секретарь, – что дети не всегда честные титулы родителей своих должны наследовать, все же тебе надлежит признать и в том неотменно со мною согласиться, что те, кто сами доблестными своими деяниями учинили себя благородными, всяческой похвалы заслуживают. А коли так, то отсюда следует, что и детям родителей их ради по справедливости воздают почести, ибо яблочко от яблони недалеко падает. Кто бы ни восхотел

в потомках Александра Великого, ежели бы он одного хоть оставил после себя, прославить доблестного пращура их на войне отвагу? Сей в юности, когда еще был он способен носить оружие, выказал страсть свою к ратным подвигам слезным сокрушением, что отец его всем завладеет, а ему ничего завоевать не оставит. Разве не покори́л он целый свет, не достигши и тридцати лет, и еще не насытился подвигами? Разве в битве с индийцами, будучи покинут своими воинами, не вспотел он от гнева кровавым потом? И разве не сиял его лик, словно вокруг него горели языки пламени, так что уstraшенные варвары принуждены были борючись отступить? Кто же не пожелает возвысить и возвеличить его над всеми людьми, ибо Квинт Курций свидетельствует о нем, что дыхание его было подобно бальзаму, пот мускусу, а мертвое тело его источало благовоние, будто драгоценные курения? Здесь приличествует также упомянуть Юлия Цезаря и Помпея, из коих один, не считая славнейших побед, одержанных им в гражданских усобицах, пятьдесят раз сражался в открытом поле и 1 152 000 воинов положил в битвах. Другой же, помимо 940 захваченных у морских разбойников кораблей, завоевал и покори́л 876 городов и сел от самых Альп до крайних пределов Гишпаниии. Я умолчу о славе Марка Сергия и лишь упомяну о Люции Сиккио Дентате; он был цеховым старшиною в Риме, когда Спурий Турпей и Авл Этерний были бургомистрами. Сей отличился в 110 битвах и по восемь раз кряду побеждал тех, кто его вызывал на бой; он мог показать на своем теле сорок пять рубцов от ран, принятых в сражениях, все лицом к лицу, – и ни одной сзади; с девятью полководцами шествовал он в триумфах, которые они получили своим мужеством. А воинская доблесть Манлия Капитолиния была бы не меньше, когда бы он сам при скончании жизни ее не умалил; ибо он также мог показать тридцать три шрама, не считая того, что он один спас от галлов Капитолий со всеми сокровищами. Где библейские герои – Иосия, Давид, Иоав, Маккавеи и множество иных, из коих первые завоевали обетованную землю, а последние вновь даровали ей свободу? Итем могучий Геркулес, Тезей и др., коих славные подвиги и бессмертную хвалу изречь и описать невозможно! Или они в потомках своих не должны быть прославлены?

Но оставляю, брат, и оружие, и обращаюсь к различным художествам, кои, правда, кажутся не столь знатны, тем не менее мастера в оных немалую себе приобретают славу. Колика́я способность была у Зевксиса, чья скорая на выдумки голова и преискусная рука обманывали птиц в поднебесье? Итем у Апеллеса, который написал Венеру так натурально, красиво и превосходно и во всех линиях столь subtilно и нежно, что в нее влюблялись юноши. Плутарх пишет, что Архимед одною только рукою на одном-единственном канате протащил через торжище в Сиракузах большой корабль, груженный купецкими товарами, как если бы он провел на узде смирную скотину, что и двадцати быкам, не говоря уж о двухстах подобных тебе телятах, было бы не под силу. Разве сии достохвальные мужи не должны почтены быть особливими титулами соразмерно своему искусству? Кто не захочет отличить перед всеми другими людьми тех, кои для персидского царя Сапора изготовили стеклянный сосуд, столь широк и велик, что он мог, воссев посреди его, наблюдать под ногами течение светил? Разве не заслуживает хвалы Архит, делавший деревянных голубей с таким искусством, что они летали по воздуху, подобно прочим птицам? Альбертус Магнус отлил из меди голову, которая могла явственно выговаривать разумное слово. Так же и Мемнонов столп, когда озаряло его восходящее солнце, испускал зычный глас или ворчание. Помянутый Архимед изготовил зеркало, с помощью коего посередь моря зажигал вражеские корабли. Вспомянем также диковинное зеркало Птолемея, в коем отражалось столько ликов, сколько часов составляло день. Кто не почтет благородной искусную руку того писца, который всю „Илиаду“ Гомерову в сто тысяч стихов уместил на столь малой бумаге, что ее можно было спрятать в ореховой скорлупе, как о том свидетельствует Плиний. А другой искусник сделал целый корабль со всеми надлежащими к нему снастями столь хитроумно, что пчела могла укрыть его под своим крылом. Кто не захочет прославить того, кто первый изобрел азбуку? И кто не захочет поставить превыше всех других искусств того, кто изобрел благородное и для всего света полезное искусство книгопечатания? Когда

Церера, ибо она изобрела хлебопашество и мельницы, почитаема была богинею, то будет ли несправедливым, ежели, согласно другим ее качествам, воздадут ей хвалу почетным титулом? По правде, невелика забота, уразумеешь ли ты, нескладный теля, все сие своими неразумными бычачьими мозгами или нет. Ты подобен псу, который, лежа на стог сена, не подпускал к нему быков, ибо сам не мог им полакомиться; ты не причастен никакой чести, а посему отказываешь в ней тем, кто ее достоин».

А когда меня так раззадорили, я отвечал: «Превосходные геройские деяния надлежало бы вельми прославить, когда бы не были они соединены с погibelью и разорением прочих людей. Какая же то слава, когда она столь обильно кровью невинных осквернена? И какое же это благородство, что погibelью многих тысяч людей завоевывается и доставляется? А что касемо до художеств, то что они такое, как не сущее безрассудство и суета? Да они столь же пусты, тщетны и бесполезны, как и сами титулы, что к одному из них прилагаются, ибо служат они либо корысти, либо сластолюбию, либо роскоши, либо на пагубу другим людям, как те страшные штуки, что я видел наместни на двуколках. Также можно обойтись без тиснения книг и сочинений, но слову и мнению одного святого мужа, утверждавшего, что весь необъятный мир довольно служит ему книгою, дабы дивиться чудесам создателя и познать благостное его всемогущество».

Одиннадцатая глава

Симплиций о жизни всетрудной тужит

Того господина, коему служит

Господин мой также захотел пошутить надо мной и сказал: «Я неотменно примечаю, что ты не надеешься приобрести себе благородство, оттого и ставишь ни во что честные дворянские титулы». Я отвечал: «Господин! Когда б мне надлежало тотчас заступить благородную твою должность, я бы никак на то не согласился». Господин мой сказал со смехом: «Я думаю, ибо быку пристойна овсяная солома. Но ежели бы ты обладал высоким разумением, какое надлежит иметь благородным душам, то прилежно снискивал бы себе чины и почести. По мне, так вовсе не худо, коли счастье возносит меня над другими». Я же сказал со вздохом: «Ах, сколь многотрудное блаженство! Господин! Я уверяю тебя, что ты наизлополучнейший человек во всем Ганау». – «Как это так? Теля! – воскликнул господин. – Скажи мне, с чего это ты взял, я за собою того вовсе не ведаю». Я отвечал: «Когда ты того не знаешь и не чувствуешь, что ты в Ганау губернатором и того ради обременен несчетными хлопотами и беспокойствами, значит, ослепила тебя чрезмерная жадность к почестям или сотворен ты из железа и вовсе бесчувствен. Правда, ты можешь повелевать, и всяк, кто б ни попался тебе на глаза, должен тебе повиноваться; но разве делают они сие занапрасно? Разве не слуга ты для них всех? Разве не должен ты пещись о каждом? Гляди, теперь ты обложен со всех сторон врагами, и сохранение всей крепости на одного тебя возложено. Ты должен стремиться причинить противнику своему урон, а притом доглядеть, чтобы умысел твой не выведали лазутчики. Разве не приходится тебе частенько самому стоять на карауле, словно простому солдату? Сверх того принужден ты заботиться, чтобы на счету не открылось какой недостачи в деньгах, амуниции, провианте и войске и того ради беспрестанными экзекуциями и насильством собирать со всей округи контрибуцию. Пошлешь за таким делом своих, так у них нет иной работы, как только разбойничать, грабить, красть, жечь и убивать; вот совсем недавно разграбили они Орб, взяли Браунфельс и Штаден да сожгли дотла. Правда, они получают от сего добычу, ты же тяжкий на себя примешь ответ перед Господом. Я допускаю, что, быть может, наряду с честью также и прибыль доставляет тебе приятность, но знаешь ли ты, кто насладится теми сокровищами, которые ты стяжал? И положим (как то ни сумнительно), что сие богатство у тебя останется, все же ты будешь принужден покинуть его, и ты ничего не возьмешь с собою, кроме греха, коим приобрел его себе. А ежели тебе посчастливится употребить добычу себе на пользу, то расточаешь ты пот и кровь бедняков, которые сейчас страждут в скудости или же вовсе погибают и мрут с голоду. О, сколь часто наблюдал я, как под бременем твоей должности мысли твои приходили в великое рассеяние, тогда как я и другие телята беззаботно почием мирным сном. А ежели ты так не поступаешь, то можешь поплатиться головою, когда упустишь что необходимо для сбережения подначального тебе войска и обсервации крепости. Гляди, от коликих печалей я избавлен! И понеже я знаю, что самой натурой положено мне умереть, то не печалюсь, что кто-либо возьмет приступом мой хлев или что я принужден буду вести перестрелку за свое пастбище. Умру я во младости, так минует меня тяжкое ярмо вола; твоей же гибели, нет сомнения, ищут многоразличными способами. И посему вся твоя жизнь не что иное, как беспрестанная забота и сну помеха; ибо принужден ты опасаться и друзей и врагов, кои, нет сомнения, замышляют, как бы лишить тебя жизни, либо денег, либо репутации, либо команды, либо еще чего-нибудь,

что ты и сам не прочь учинить с другими. Враг нападает на тебя явно, а мнимые твои приятели в тайности завидуют твоему счастью; но и от подначальных ты не всегда в безопасности. Я уже не говорю о том, что всякий день терзают тебя пламенные вожеления и ты бросаешься туда и сюда, помышляя, как бы приобрести себе еще большую славу и честь, выйти в еще большие чины, стяжать еще большее богатство, провести похитрее врага, одолеть его, разорить то или другое селение, одним словом, сотворить все то, от чего другим людям будет скорбь, твоей душе пагуба, а божественному величию неугодность. Но наигоршее зло, что ты ласкателями своими столь испотворен, что не знаешь самого себя, и столь ими пленен и отравлен, что не можешь узреть пагубную стезю, на которую ступил; ибо все, что ты ни сделаешь, они нарекут благом и все пороки твои восхвалят и обратят в сущие добродетели. Лютость твою они объявят справедливостью, а когда ты приказываешь разорять страну и народ, они уверяют, что ты brave солдат, подстрекая тебя, таким образом, на пагубу другим людям, дабы сохранить твое благоволение да потуже набить свою мошну».

«Ах ты, лежебок! Негодник! – сказал мой господин. – Да кто это подучил тебя так проповедовать?» Я отвечал: «Милостивый господин! Разве я говорю неправду, что ты своими ласкателями и потатчиками столь испотворен, что тебе уже пособить невозможно? Напротив, другие люди тотчас же видят твои пороки и осуждают тебя не только в вещах важных и значительных, но и сыскивают их довольно в самых наиничтожных, чтобы порицать тебя. Али мало тебе примеров о великих мужах, что жили в давние времена? Афиняне роптали на Симонида за то только, что у него был зычный голос; фиванцы жаловались на своего наникулума, что он рыгал; лакедемоняне бранили Ликурга за то, что он всегда ходил с наклоненной головой; римляне полагали, что не приличествует Сципиону столь громко храпеть во сне; им казалось отвратительным, что Помпей чешется одним ногтем; над Юлием Цезарем они насмехались, ибо он не умел складно и нарядно надеть пояс; жители Утики бранили доброго Катона за то, что он, как им мнилось, с непомерной жадностью уписывал за обе щеки; а карфагеняне злословили о Ганнибале, ибо он всегда ходил с обнаженной грудью. Как теперь мнится тебе, милостивый мой повелитель? Все ли еще полагаешь ты, что должен я поменяться с тем, у кого наряду с дюжиной, или тринадцатью, застольных друзей, объедал и подлипал, почитай, больше ста, а то и десять тысяч тайных и явных врагов, хулителей и недоброхотных завистников? Да и какое блаженство, какое веселие и радость могут быть у того, под чьим попечением, покровом и защитой живет столько людей? Разве не надобно тебе за всем доглядеть, обо всем печалиться и всякую жалобу и ябеду выслушивать? Разве от сего одного не довольно докуки, даже если бы не было у тебя ни врагов, ни завистников? Изрядно вижу, сколь несладко твое житье и коликими ты обременен тяготами. А какая, милостивый господин мой, напоследок ожидает тебя награда? Ответствуй мне, что приобретешь ты от сего? А ежели ты того не знаешь, то обратись к греку Демосфену, коего, после того как он доблестно и верно служил и споспешествовал общему благу и правлению афинскому, вопреки всякому праву и справедливости, словно мерзостного злодея, выслали из отечества и обрекли на изгнание. Сократ был изведен ядом; Ганнибал был столь дурно награжден соотечественниками, что принужден был скитаться по свету. То же случилось с римлянином Камиллом; и тем же родом отплатили греки Ликургу и Солону, из коих первого побили камнями, а другому выкололи глаз и напоследок изгнали из отечества, словно убийцу. Точно так же Моисей и другие святые мужи подпадали ярости и неистовству черни. Того ради оставайся при своей команде и своем жалованье, какое ты заслужил; тебе не надобно будет им со мною делиться; ибо когда будет с тобою все благополучно, то, по крайности, ты не приобретешь себе ничего больше, кроме нечистой совести. А ежели начнешь ты внимать велениям своей совести, так тебя тотчас же отрешат от команды как неспособного не иначе, как если бы ты вроде меня стал несмышленным телятею».

Двенадцатая глава

Симплиций приводит схолию ту,

Что ум неразумному дан скоту

Посреди такого моего дискурса всяк взирал на меня с изумлением, и все присутствующие дивились, что я способен вести такие речи, чего, как они уверяли, и для разумного человека было бы довольно, когда бы мог он безо всякого предварительного размышления так говорить. Я же заключил речь свою такими словами: «Посему-то, милостивый господин мой, и не желаю я с тобою поменяться! По правде, мне в том нет ни малейшей нужды; ибо вместо твоего дорогого вина родник доставляет мне полезный напиток, а тот, по чьей воле я стал телянком, благословит мне на потребу плоды земные, кои мне, как Навуходносору, весьма сгодятся в пищу и для поддержания жизни. Натура снабдила меня также изрядною шубою, тогда как, напротив, тебе нередко претит самая лучшая снедь, вино помрачает голову и тебя посещают различные немощи».

Мой господин отвечал: «Право, не знаю, что мне о тебе и подумать: для телянка, сдается мне, ты слишком разумен; чую я, что под телячьей шкурой кроется изрядный плутяга». Я притворился рассерженным и сказал: «Али вы, люди, и впрямь почитаете нас, зверей, дурнями? Зря забрали вы это себе в голову! Я стою на том, что, когда бы твари постарше меня могли, как я, речи говорить, они не остались бы у вас в долгу. А ежели вы полагаете, что мы совсем глупы, то скажите, кто научил сизого голубя, жаворонка, черного дрозда и рябчика прочищать себе кишки лавровым листом? А горлиц, турманов и кур пользоваться себя львиным зевом? Кто научил собак и кошек есть траву по росе, когда им надо очистить переполненные желудки? Кто научил черепаху врачевать укушенные места болиголовом? А оленя, когда он подстрелен, лечить себя бадьяном или диким полеем? Кто наставил сусликов употреблять руту, когда на них нападает летучая мышь или змея? Кто показал кабанам плющ, а медведям мандрагору и втолковал им, что сие надежное для них лекарство? Кто присоветовал орлу искать орлиный камень и употреблять его, когда приходит время класть яйца? Кто надоумил ласточек врачевать больные глаза птенцов чистяком? Кто внушил змеям, что, готовясь к линьке или чтобы прогнать из глаз темную воду, надлежит им употреблять укроп? Кто обучил аиста ставить себе клистиры, пеликана отворять себе жилу, а медведя позволять пчелам пускать себе кровь? Чего? Да я осмелюсь утверждать, что вы, люди, переняли свои науки и художества от нас, зверей! Вы жрете и упиваетесь до недугов и смерти; того с нами, скотами, не бывает. Лев либо волк, когда он безмерно разжиреет, то соблюдает пост, покуда снова не спадет с тела и не станет здоров и весел. Но каковая тварь разумнее всех? Воззрите на птиц поднебесных! Рассмотрите искусное строение чудных гнезд! И понеже никто не сможет подражать им в работе, то должны вы признать, что они превосходят вас, людей, равно как в разумении, так и в искусстве. Кто говорит перелетным птицам, когда время лететь к нам по весне и выводить птенцов? А по осени, когда снова отправляться на зимовье в теплые страны? Кто присоветовал им определять для сего особое сборное место? Кто ведет их или указывает им путь? Или, может быть, вы, люди, ссужаете их мореходным своим компасом, дабы они не заблудились в пути? Нет, любезные человеки, они знают дорогу и без вас, знают, сколь долго принуждены они будут странствовать, когда надлежит им подняться с того или иного места, и так они не нуждаются ни в компасах ваших, ни в календарях. Воззрите также на прилежного паука, чье непрестанное плетение едва

ли нельзя почесть чудом! Сыщете ли вы хотя бы единственный узел во всей его работе? Какой охотник или рыбак научил его плести сети, а потом как расставить их и подстерегать дичину либо из темного уголка, либо в самом средоточии своего плетения сидючи? Вы, люди, дивитесь ворону, о коем свидетельствует Плутарх, что кидал он камни в сосуд до тех пор, покуда вода не поднялась настолько, что мог он с легкостью утолить жажду. Что бы вы, люди, стали делать, когда б довелось вам пожить среди зверей и вместе с ними и вы видели бы и наблюдали все прочие их деяния, повадки и обычаи? Тогда только признали бы вы, что, судя по всему, все звери как бы наделены своими особливými природными силами и добродетелями, кои проявляются во всех их *affectionibus*³² и склонностях духа, в осторожности, крепости, ласке, пугливости, дикости, в обучении и воспитании. Звери ведь узнают друг друга, они отличают себя от других, они перенимают то, что им на пользу, остерегаются того, что им во вред, убегают опасности, собирают сообща то, что им надобно для пропитания, а иногда и обманывают вас, людей. А посему многие древние философы, все сие изрядно взвесив и рассмотрев, не почитали зазорным рассуждать и диспутировать о том, не обладают ли неразумные твари и впрямь умом? Но зачем городить огород? Разве сам мудрый Соломон не поучает нас, когда глаголет в „Притчах“, гл. 30: „Четыре же суть малейшие на земле, сии же суть мудрейшие из мудрых: муравьи – народец несильный, однако ж летом заготавливают пищу себе на зиму; хирогулли – народец слабый, однако ж ставят дома свои на скалах; у саранчи нет царя, но выступает вся она стройно; паук лапками цепляется, но живет в чертогах царевых“.

Я не хочу более рассуждать о сем предмете; ступайте и воззрите на пчел, как приготавливают они воск и мед, и тогда поведаете мне суждение ваше».

³² Волнениях (*лат.*).

Тринадцатая глава

Симплиция речи кто ведать желает,

Пусть тот прилежно сие читает

Засим последовали различные обо мне суждения сотрапезников моего господина. Секретарь стоял на том, что надлежит почесть меня дурнем, коль скоро я самого себя объявляю и величаю неразумною тварью, ибо те, коим недостает в голове заклепки, а они все же мнят себя умниками, бывают самыми найдиковинными и замысловатыми дурнями. Другие говорили, когда б отнять у меня такое воображение, что я теленок, или же втолковать мне, что я снова сделался человеком, то можно было б почесть меня довольно разумным или смышленным. Господин мой сказал: «Я почитаю его дурнем, ибо он каждому не страшась говорит правду; однако ж дискурсы его таковы, что не под стать никакому дурню». Все сие говорили они по-латыни, дабы я не мог уразуметь. Он спросил меня, не штудировал ли я различные ученые предметы, когда еще был человеком. «А я не знаю, что такое штудировать, – сказал я ему в ответ. – Однако ж, любезный мой господин, растолкуй мне, что это за штуды, коими штудируют. Не зовешь ли ты так кегли, которые сшибают?» На что сумасбродный фендрик сказал: «Зряшные растабары с этим молодчиком! Али не видите, что в ём бес засел; он одержимый, вот бес из него и брешет!» Того ради возымел господин мой причину спросить меня, поелику сделался теперь я теленком, то не оставил ли обыкновение творить молитву, как творил до сего, подобно другим людям, и уповаю ли я достигь небесного блаженства. «Вестимо! – отвечивал я. – Ведь осталась же во мне бессмертная моя душа, коя, как ты с легкостью уразуметь можешь, вовсе не стремится попасть в ад, особливо когда мне там довелось столь худо. Я токмо лишь переменялся, как прежде Навуходносор, и могу еще со временем опять стать человеком». – «Желаю тебе того», – сказал господин мой с приметным вздохом, почему я легко заключить мог, что его посетило раскаяние, ибо по его соизволению и сделался я дурнем. «Однако ж мы хотим послушать, – продолжал оп, – как ты молишься!» Тут я пал на колени, воздел руки и возвел очи горе, как подобает честным отшельникам, и понеже раскаяние господина моего изрядно умилило мое сердце, то не мог удержаться от слез и по прочтении «Отче наш» с величайшей истовостью творил молитву за всех христиан, за друзей и врагов моих, да сподобит меня всевышний по благости своей провести жизнь не постыдно и мирно, дабы мог я и был достоин прославить его в селении праведных, – ибо отшельник научил меня творить молитвы благочестивыми, подобранными в уме словами. Отчего некоторые из взиравших на сие принялись почти что плакать, ибо преисполнились ко мне большим сожалением; да и у самого моего господина стояли в глазах слезы, коих он, сдается мне, сам стыдился, а посему сказал в извинение, что сердце у него готово было разорваться в груди, когда в такой прежалостной фигуре явственно представилась очам его покойная сестра.

После обеда послал мой господин за помянутым священником, поведал обо всем, что я учинил, и дал уразуметь, что он в опасении, все ли со мною ладно и не замешан ли тут нечистый, ибо до сего обнаружил я совершенную простоту и неведение, а теперь рассуждаю о таких предметах, что только диву даешься. Священник, наилучшим образом знавший все мои обстоятельства, отвечал, что надобно было о сем помыслить прежде, чем соделать из меня дурня; люди – подобие божие, и с ними, особливо в столь нежной юности, не следует учинять потеху, как со скотами. Однако ж он никогда не поверит такому попусчению, что злой дух мог сюда

замешаться, поелику я во всякое время с молитвою прилежно вверял себя Богу. А ежели, паче чаяния, и было такое поущение и определение, то тем тяжелее будет ответ перед Господом, ибо и без того нет греха горшего, нежели отнять у ближнего разум, а через то лишить его возможности возносить хвалу и служить вышнему, для чего, собственно, и сотворен человек. «Я и допрежь сего уверял, что он довольно остер умом, а не мог обыкнуть в сем мире по той причине, что был взращен и воспитан в совершенном неведении сперва своим батькой, мужиком неотесанным, а затем в пустыне – вашим свояком. Когда б поначалу малое на него употребили терпение, то со временем он сделался б куда складнее; то было богобоязненное, простодушное дитя, еще не ведавшее ни о чем в сем злобном мире. Однако ж я нимало не сомневаюсь, что ему пособить невозможно, ежели не отнять у него этого мечтания и не добиться того, что он перестанет верить в свое телячество. Писано бо в книгах про одного, кой непреложно уверовал, что сделался глиняным кувшином, того ради наказывал своим домашним ставить его наверх, дабы он не разбился. А другой возомнил, что он не кто иной, как петел; сей кукарекал в своей болезни день и ночь. А еще иной полагал, что он не иначе как помер и бродит по земле привидением, и того ради отстранял от себя лекарство, и пищу, и питье, и никому не удавалось его к тому преклонить, покуда один умный врач не подговорил двух молодцов, кои якобы также вообразили себя привидениями, но, невзирая на то, оказывали над кушаньями всяческую храбрость и, подбившись к нему в товарищи, уверили его, что в нынешние времена и привидения не пренебрегают кушаньями и напитками, чем его и поставили на ноги. У меня самого в приходе был больной мужик; когда я посетил его, он пожаловался мне, что в брюхе у него скопились три или четыре ведра воды; коли эту воду из него выпустить, то уповал он, что придет в совершенное здравие, почему и просил меня либо взрезать ему живот, чтобы вся жидкость вытекла, либо подвесить в коптилке, чтобы его хорошенько высушить. На что приступил я к нему с увещанием и убедил его, что сумею избавить от водянки иным способом; засим взял я крап, который употребляю для винных или пивных бочек, навязал на него кишку, приладил другой конец к выступу большой кадки, которую велел доплна налить водою, и притворился, будто вставил тот кран ему в брюхо, обвязанное тряпками, в опасении, как бы оно не лопнуло. Засим открыл я кран, пустил воду из кадки, чему пентюх от всей души радовался и по исправлении оной процедуры поснимал с себя все тряпки, а через короткое время он пришел в совершенное здравие. Тем же манером пособили и другому, который возмечтал, что в брюхе у него запрятана конская сбруя, удила и другие подобные вещи; сему дал доктор проносное питье и положил под стульчак означенные предметы, дабы малый уверился, что все сие сошло на низ у него самого. Также сказывают о некоем фантасте, который вообразил, что нос его столь велик, что достает до земли; сему привесили к носу колбасу, от коей мало-помалу отрезали по куску, покуда нож не коснулся тела, так что носач закричал, что его нос обрел прежний свой вид; посему заключаю, что и доброму Симплициусу, как и тем людям, пособить можно». – «Охотно верю сему, – отвечал мой господин, – однако ж смущает меня, что он, пребывая доселе в толиком неведении, теперь рассуждает о различных предметах, представляя их с таким совершенством, как это и у старых, опытных книгочиев за редкость почесть можно. Он насказал мне о многих свойствах животных и описал мою собственную персону столь искусно, как если бы всю жизнь свою провел в свете, так что я тому дивуюсь и готов почесть сии речи за оракул или знамение божие». – «Господин, – отвечал священник, – сие могло произойти естественным образом. Я знаю, что малый весьма прилежен к чтению, ибо он вместе с отшельником перечел все мои книги, коих было у меня немало, и понеже память у него изрядная, то днесь, когда дух его празден и он не помнит самого себя, то и выкладывает все, что прежде запало в его мозги. Я уповаю, что со временем он и вовсе поправится». С такими словами священник оставил губернатора колеблющимся меж страхом и надеждою; он предстательствовал за меня наилучшим образом и доставил мне благополучное житие, а себе благоволение моего господина. Напоследок они порешили, что надобно еще некоторое время

смотреть за мною; и сие производил священник более ради своей собственной, нежели моей пользы; ибо беспрестанно приходил то с тем, то с другим, как если бы он утруждал себя великим обо мне попечением, подбиваясь тем в милость к губернатору; того ради пожаловал сей последний его должностию и назначил капелланом при гарнизоне, что в те стесненные времена было не безделицей и чему я от всей души за него радовался.

Четырнадцатая глава

Симплиций беспечно резвится на льду,

Попал он к кроатам себе на беду

С того времени милость, щедроты и благоволение господина моего меня не оставляли, чем по справедливости могу похвалиться; ничто не препятствовало моему счастью, кроме как то, что я еще летами не вышел, а из телячьего платья повыврос, хотя сам я того не разумел. Также и священник не очень-то хотел, чтобы я пришел в совершенный разум, понеже ему мнилось, что для сего еще не пришло время и ему это не послужит на пользу. Однако ж господин мой, приметив во мне склонность к музыке, велел меня обучать оной и приставил ко мне превосходного лютниста, чье искусство я вскорости постиг довольно изрядно и превзошел его тем, что мог лучше, нежели он, сопровождать свою игру пением. Итак, служил я моему господину для его утех, забавы, увеселения и дивования. Все офицеры оказывали мне свое благоволение, именитые горожане являли мне почтение, а челядинцы и солдаты мне доброхотствовали, ибо видели расположение ко мне моего господина. Каждый одаривал меня то тем, то этим, ибо они знали, что лукавые шуты нередко входят у своих господ в большую силу, нежели человек правосудный, а посему и склоняли меня подарками, иные, чтобы я не повредил им, снаушничав, а иные, напротив, чтобы я как раз учинил сие ради их корысти, таким-то образом зашибал я немало денег, которые по большей части отдавал сказанному священнику, ибо еще не ведал, на что они годны. И как никто не осмеливался поглядеть на меня косо, то и я ниоткуда не чаял себе напасти, заботы или кручины. Все свои помыслы устремил я к музыке или направлял к тому, как половчее казнить дурачества своих ближних. А посему возрастал я, катаючись, как сыр в масле: рожа моя лоснилась, а телесные силы приметно прибывали; вскорости по мне стало видно, что я не умерщвляю свою плоть в лесу, питаюсь желудями, буковыми орешками, корнями и травами, запивая все это ключевой водою; мне пошел впрок лакомый кусок да еще с глотком рейнского вина или ганауского крепкого пива, что в столь скудные времена за великую милость божью почесть надо было; ибо вся Германия тогда была снедаема жестоким пламенем войны, чумой и голодом, так что и сама крепость Ганау была обложена неприятелем, но все сие мне нисколько не досаждало. По снятии осады господин мой порешил в мыслях презентовать меня либо кардиналу Ришелье, либо герцогу Бернгарду Веймарскому; ибо, помимо того, что он надеялся подобным подарком получить великую благодарность, ему, как он сам признавал, было непереносно видеть долее, как я в столь дурацком одеянии всякий день представляю его очам облик его пропавшей сестры, с коей я час от часу все более схож становился. Сие отсоветовал ему священник, ибо он утверждал, что придет время, когда он сотворит чудо и снова обратит меня в разумного человека, а посему подал губернатору совет припасти две телячьи шкуры и обрядить в них еще двух мальчиков. Засим отрядить к ним третью персону или особого человека, который, явившись в образе лекаря, пророка или бродячего скомороха, снял бы с диковинными церемониями с меня и со сказанных двух мальчиков наше дурацкое одеяние, уверяя, что может превращать скотов в людей, а людей в скотов. Подобным образом буду я снова приведен в полный разум, и мне без особых трудов втолковать будет можно, что я, равно как и другие, снова стал человеком. И как губернатор дал на сие соизволение, то и пересказал мне священник все, о чем он столкнулся с моим господином, и легко уговорил меня на то согласиться. Однако ж завистливая Фортуна не возжелала дозволить мне с толи-

кою легкостью выскользнуть из дурацкого моего платья и наслаждаться долее благополучным и превосходным сим житием! Ибо покудова скорняк и портной трудились над изготовлением потребных для оной комедии нарядов, резвился я с несколькими ребятами на льду перед крепостью; внезапно, и уж не знаю, какая нелегкая нанесла на нас отряд кроатов, которые нас сцапали, посадили на порожних лошадей, только что перед тем отнятых у мужиков, и увезли всем скопом. Правда, сперва они были в сумнении, брать ли меня с собою, покуда один не сказал по-моравски: «Mih weme doho Blasna sebao, bowe deme no gbabo Oberstwoi». Сему отвечал другой: «Prschis am bambo ano, mi no nagonie possadeime, wan rosumi niemezki, won bude mit Kratoek wille sebao». Итак, принужден я был сесть на лошадь и познать, что един неурочный час может похитить все благополучие и лишить всего счастья и блаженства, за коими иной гоняется всю жизнь.

Пятнадцатая глава

Симплицию пало на злую долю

Беды и горя у кроатов вволю

И хотя в крепости тотчас же подняли тревогу, повскакали на коней и начали с теми кроатами перепалку, чем их малость приостановили и задержали, однако ж не смогли у них ничего отбить, ибо сия легкая прыткая ватага вскорости улизнула от погони и направила путь свой на Бюдингген, где они накормили лошадей и отдали на выкуп тамошним горожанам взятых в плен богатеньких сынков из Ганау, а также распродали похищенных лошадей и другие товары. Отсюда поднялись они прежде, чем разгулялась настоящая ночь, не говоря уже о том, чтобы занялось утро, и пересекли бюдинггенский лес, направляясь к аббатству Фульда и забирая по пути все, что только могли увезти с собою. Грабежи и разбой нимало не препятствовали скорому их походу, ибо они уподоблялись самому черту, о коем обыкновенно говорят, что он может в одно и то же время бежать и (s. v.) дристать, нимало не мешкая, по дороге, понеже мы тем же вечером прибыли с большою добычею в аббатство Хиршфельд, где были у них квартиры; тут все пошло в дележ, я же достался полковнику Корпесу.

Все претило мне и казалось весьма несурзным при дворе сего нового господина: лакомые яства Ганау переменились на грубый черный хлеб и постную говядину или, когда дела шли хорошо, на кусок краденного сала. Вино и пиво превратились в воду, а вместо мягкой постели привелось мне довольствоваться соломою подле лошадей. А что до игры на лютне, коей услаждал я все совокупное общество, то вместо ее принужден я был, подобно другим мальчишкам, забиваться под стол, лаять по-собачьи и получать тычки шпорами, что было для меня невеселой потехой. Вместо променадов в Ганау отправлялся я на фуражировку, чистил скребницами лошадей и вывозил навоз. Фуражировать же означало не что иное, как с великим трудом и заботами, а частенько с опасностью для жизни и здоровья рыскать по деревням, молотить, молоть, печь, красть и брать все, что сыщешь, пытать и разорять мужиков, позорить их служанок, жен и дочерей, для каковой работы я был еще юн летами. А когда бедные мужики показывали свое неудовольствие или же набирались такой дерзости, что тому или иному фуражиру, захватив посреди таких его трудов, возьмут да и пообломают лапы, что в те времена в Гессене с такими гостями случалось нередко, то зарубали тех мужиков насмерть, как только они попадутся, или же, по крайности, пускали на дым их хижины. У господина моего не было жены (ибо подобные вояки не имеют обыкновения таскать за собою жен, коль скоро первая встречная всегда может заступить их место), не было у него ни пажа, ни камердинера, ни повара, зато при нем находилась целая ватага конюхов и отроков, кои имели попечение разом и о нем, и о его лошадях, да и он сам не считал для себя зазорным оседлать коня или засыпать ему корму. Спал он завсегда на соломе, а то и на голой земле, укрываясь меховым плащом, а посему частенько можно было узреть странствующих по его платью бекасов, чего он нимало не стыдился, а еще посмеивался, когда кто-нибудь снимал их с него. Он носил короткие волосы и широченные усы, как у швейцарцев, что было ему весьма кстати, ибо он имел обыкновение переодеваться в мужицкое платье, когда отправлялся что-либо поразведать. И хотя он не задавал пирушек, как это ему приличествовало бы, однако ж всем, кто только его знал, как своим, так и чужим, внушал любовь, страх и уважение. Мы никогда не жили спокойно, а рыскали повсюду, то нападали

сами, то нападали на нас; не было нам угомону, пока можно было трепать гессенцев; также и Меландер не давал нам ни отдыха, ни срока, ибо отбивал у нас всадников и отсылал в Кассель.

Сия беспокойная жизнь была мне вовсе не по нутру, а посему я частенько, но тщетно вздыхал по Ганау. Самый тяжкий крест, который мне был ниспослан, состоял в том, что я не мог толком объясниться с этими молодцами, а был принужден сносить от всех и каждого тычки, пинки, побои и всяческое поминание. Наибольшая потеха, какую я доставлял моему господину, заключалась в том, что я пел перед ним по-немецки и, подобно другим конюшенным, должен был трубить в трубу, что, по правде, случалось редко; но тогда получал я столь жестокие оплеухи, что шла кровь, что мне надолго было памятно. Напоследок, ибо и без того было видно, что меня еще нельзя было посылать на фуражировку, стал я приучаться к стряпне, а также чистить моему господину оружие, о чем он весьма заботился. Сие исправлял с таким рачением, что наконец приобрел расположение моего господина, ибо он приказал сшить мне из телячьей шкуры новое дурацкое платье с ослиными ушами, куда более длинными, нежели раньше; и понеже господин мой был в кушаньях не весьма привередлив, то тем меньше надобно было мне оказывать проворство в поваренном искусстве. А как частенько недоставало мне соли, сала и приправ, то сие ремесло мне прискучило; того ради я беспрестанно размышлял, как бы мне добрым манером отсюда убраться, особливо же потому, что я снова дожил до весны. А когда я решил сие исполнить, то принялся собирать и оттаскивать подале от наших квартир валявшиеся повсюду овечьи да коровьи кишки и черева, дабы они не распространяли столь гнусный запах, что пришлось ему по нраву. А когда я с тем управился, то напоследок, как только стемнело, отлучился совсем и улизнул в ближайший лес.

Шестнадцатая глава

Симплиций скитается в темных лесах,

На двух злодеев наводит страх

Однако ж, судя по всему, мое житье-бытье час от часу становилось все несноснее, и было столь худо, что я вообразил, будто рожден для злополучия; ибо не успело пройти несколько часов, как я сбежал от кроатов, а я уже попал в лапы к разбойникам. Сии, нет сомнения, полагали, что словили важную птицу, ибо темной ночью не разглядели моего шутовского наряда, и тотчас же отрядили двух молодчиков отвести меня в уреченное место в самой чаще леса. А когда они завели меня в глубь леса, а темень была хоть глаз выколи, то один из них вознамерился без дальних околичностей повтырясти из меня денежки. Итак, сложил он кожаные свои перчатки и самопал наземь и принялся меня ощупывать, спросив: «Кто таков? Где у тебя деньги?» Но едва только почувствовал он под руками мохнатое мое платье и долгие ослиные уши на моей шапке (кои почел рогами), да еще к тому же увидел перебегающие по мне светлые искорки (как обыкновенно можно приметить на звериных шкурах, ежели их в темноте погладить), то обуял его такой страх, что он весь затрясся. Сие я тотчас же смекнул; того ради, прежде чем он снова отудобел или опамятовался, принялся я обеими руками из всех сил тереть свое платье, да так, что оно все засверкало, как если бы я внутри был начинен горящею серою, и отвечивал ему ужасающим гласом: «Я черт и сейчас сверну тебе и твоему товарищу шею!», чем сих двоих так устрасил, что они оба стремглав бросились от меня, словно их настигал адский пламень. Темная ночь не умедлила скорого их бега, и хотя они нередко спотыкались о пенья, камни, коряги и поваленные деревья и еще чаще падали кувырком, однако ж проворно вскакивали на ноги. Так мчались они, покуда я не перестал их слышать; я же похохатывал им вслед столь зычно, что весь лес отзывался, и сие, нет сомнения, в таковом безлюдье наводило на них немалый ужас.

Когда я собрался уйти прочь, то запнулся о самопал; я прихватил его с собою, ибо кроаты уже научили меня, как надлежит обращаться с оружием. А когда я зашагал дальше, то наскочил на ранец, сшитый, как и мое платье, из телячьей шкуры; я также его подобрал и увидел, что снизу к нему привязан еще патронташ с пулями, свинцом и прочим нарядом. Я навесил все это на себя, вскинул самопал на плечо, как заправский солдат, и схоронился неподалеку в густом частом кустарнике в намерении малость поспать. Но едва занялось утро, как вся шайка воротилась на сказанное место, чтобы сыскать брошенный самопал и сумку; я же наострил уши, словно лисица, и затаился, как мышь. Но как они ничего не нашли, то подняли на смех тех двоих, которые от меня улепетывали. «Эх вы, трусливые простофили, – укоряли они, – не стыдно вашим бельмам, что вы двое дозволили одному-единственному малому так вас настращать, прогнать и завладеть вашим оружием!» Но один из них поклялся, чтоб черт его побрал, когда то не был сам черт; он ведь хорошо расщупал его рога и грубую шкуру. Другой же кобенился весьма нескладно и сказал: «По мне, будь то хоть черт, хошь его матушка, мне бы только сыскать свой ранец». А один из них, коего я почел старшим, отвечал ему: «Как ты полагаешь, на кой черт зандобились черту твой ранец и самопал? Да я готов прозакладывать голову, когда их не уволок с собою тот малый, который обратил вас в столь постыдное бегство». По сему прекословил другой товарищ, сказывая, что-де весьма статья может, что уже после того бродили тут крестьяне, которые нашли и подобрали сии вещи. Наконец все согласились с таким

мнением, и вся ватага твердо уверовала, что они захватили самого черта, особливо же потому, что тот самый малый, который в потемках ощупал меня, не только подтверждал сие ужасною божбою, но и сумел нарасказать им, жестоко все размалевав, про грубую сыплющую искрами шкуру и два рога как несомненный признак дьявольской природы. Сдается мне, что ежели бы тогда я ненароком объявился снова, то вся орава бросилась бы врассыпную.

Напоследок долгонько поискав и ничего не нашедши, отправились они своим путем; я же раскрыл ранец, намереваясь позавтракать, но едва запустил руку, как достал кошель, в коем находилось примерно триста шестьдесят дукатов. И хотя нет нужды спрашивать, был ли я такою находкою обрадован, однако ж, да поверит мне читатель, котомка сия более увеселяла меня тем, что должным образом была набита провизиею, нежели тем, что я обрел в ней изрядный куш золота. И как у подобных молодчиков среди простых солдат в карманах гуляет ветер и такой куш таскать им с собою не за обычай, то я решил, что сей малый только в последней переделке промыслил себе тайком эти денежки и проворно засунул их в ранец, чтобы не пришлось поделиться с товарищами.

Засим я беспечально позавтракал, а вскорости обрел веселый родничок, возле коего славно прохлаждался и пересчитывал любезные дукаты. Но коли мне следовало бы объявить, в какой стране или местности я тогда пребывал, я, хоть убей, не мог бы о том ничего сказать. Сперва я обретался в лесу, покуда доставало мне провианту, с коим я весьма скупился. Но когда ранец мой стал пустехонек, погнал меня голод к мужичьему жилью: по ночам прокрадывался я к погребам и кухням и забирал все съестное, все, что только мог там сыскать и унести с собою; все это я тащил в лес, в самую глухую чащу. Там я вновь обратился к былой отшельнической жизни, какую вел прежде, кроме разве того, что теперь я много крал и тем меньше молился, а также не было у меня постоянного пристанища, и я бродил по всему лесу. Мне было весьма кстати, что такая жизнь повелась у меня с начала лета, а также что мог я стрелять из самопала, когда только хотел.

Семнадцатая глава

Симплиций зрит ведъм на шабаш сборы,

И сам попадает в бесовские своры

Посреди таких странствий доводилось мне встречать в лесах то там, то сям блуждающих мужиков; однако ж они всегда от меня убегали, уж не знаю, по той ли причине, что они и без того были войною напуганы, рассеяны и, почитай, никогда не обретались дома, или же разбойники повсеместно разнесли молву о том приключении, какое было у них со мною, так что те, кому случалось меня потом ненароком увидеть, тотчас же полагали, что злой дух и впрямь рыщет в той стороне. Однажды проплутал я несколько дней в лесах и того ради стал весьма опасаться, что все припасы мои переведутся и я впаду в превеликую крайность и принужден буду снова питать себя травою и кореньями, отчего я уже давненько отвык. Посреди таких мыслей слышал я двух дровосеков, что меня весьма обрадовало; я пошел на стук, и когда их завидел, то вынул из кошель целую пригоршню дукатов, подкрался близко к ним и, показывая прельстительное золото, сказал: «Голубчики, коли вы меня тут поджидали, то вознамерился я вам подарить эти денежки!» Но едва они увидели, что у меня в руках засверкало золото, как сами тотчас же засверкали пятками, побросав кувалды и клинья, а заодно и мешок с хлебом и сыром. Сей снedyю набил я ранец, углубился в лес и почти что отчаялся, что когда-либо снова стану жить среди людей.

По долгом размышлении о сем предмете сказал я себе: «Кто знает, какая уготована тебе судьбина; у тебя завелись денежки, и когда ты схоронишь их в надежном месте у добрых людей, то сможешь долго прожить беспечально». Итак, взошло мне на ум, что надобно их зашить; того ради сшил я из моих ослиных ушей, которые нагоняли на всех страх, два зарукавья и, присокупив мои ганауские дукаты к разбойничьим, заточил их в сказанные зарукавья, подвязав изнутри выше локтя. Ухоронив таким образом свое сокровище, я стал снова наведываться к мужикам, добывая себе из их запасов все, в чем у меня была нужда и что я мог утащить. И хотя я еще был простак простаком, однако ж у меня достало хитрости, чтобы никогда не возвращаться на то место, где мне привелось чем-нибудь поживиться; а посему в плутнях мне была великая удача и никому еще не удавалось меня изловить с поличным.

Однажды в конце мая, когда вознамерился я сим обычным для меня, хотя и запретным, способом добыть себе пропитание и на такой конец пробрался на некий крестьянский двор, то тихонько зашел на кухню, однако ж вскоре приметил, что там были еще люди (nota: а туда, где были собаки, я не заглядывал вовсе); а посему растворил я настежь кухонную дверь, что вела во двор, дабы в случае опасности прямехонько дать стрекача, и затаился, словно мышь, ожидая, покуда люди не утомонятся, меж тем приметил я в кухонной ставенке, что выходила в покои, щелку; я подкрался туда, чтобы поглядеть, скоро ли те люди улягутся спать. Однако ж моя надежда была пустой, ибо они только что оделись и заместо свечи стояла там у них на лавке светильня, мерцавшая голубым серным пламенем, при свете коего мазали они помела, метлы, вилы, скамьи и стулья и один за другим вылетали, сидючи на них, в окошко. Сие повергло меня в ужасающую оторопь и вселило немалый страх, но понеже я приобьик и к еще более устрашительным позорищам, да и отродясь не доводилось мне еще слыхивать или читывать про таких ведьмаков, наипаче же оттого, что все сие свершилось весьма чинно, то я не особливо остерегался, а напротив, когда все повыскакали, зашел в тот покой, размышляя, что бы мне унести и

где еще пошарить, и посреди таких мыслей присел я верхом на скамеечку. Но едва я оседлал ее, как поехал, да что там, взвился с треском и вылетел вместе со скамейкою в окошко, оставив ранец и самопал там, где их положил, возле скляницы с притираниями и прочих колдовских мазей. Сесть, взлететь и сойти долой – все учинилось во мгновение ока! Ибо я, как мне мнилось, в ту же минуту очутился посреди превеликой толпы народа, а быть может, со страху не заметил, сколько времени провел я в дальнем сем пути. Все тут отплясывали диковинные танцы, коих я отродясь не видывал; ибо они, взявшись за руки и выворотив спины, подобно тому, как изображают граций, так что лица их были все наружу, водили хороводы в несколько кругов, один заключенный в другом. Во внутреннем кругу было примерно семь или восемь персон; в следующем за ним, верно, вдвое больше, а в третьем больше, чем в сих обоих, так что в наружном кругу было их свыше двухсот. И так как один круг, или хоровод, скакал влево, а другой возле него вправо, то и не мог я хорошенько разглядеть, сколько было всего таких кругов и что стояло там посреди, вокруг чего они плясали. Все сие было весьма странно и устрашительно, ибо головы их преуморительно мелькали перед очами. И сколь странен был сам танец, такова же была их музыка; также сдается мне, всяк припевал к сему танцу еще от себя, что составляло диковинную гармонию. Скамья, на которой я прилетел, опустилась возле музыкантов, стоявших поодаль от того круга, или хоровода; у некоторых из них заместо флейт, флейт-траверсов и свирелей были ехидны, ужи и гадюки, на коих они превесело гудели. Иные же стояли с кошками, которым они дули в задницы, перебирая по хвосту пальцами; и сие звучало, подобно волынкам. А другие водили смычками по конским черепам, словно по наилучшей дискантовой скрипке, а иные ударяли по коровьим остовам, какие можно видеть на живодерне, как по струнам арфы. Был среди них и такой молодец, который держал под мышкой суку; он вертел ей хвост, как рилейщик, перебирая лады на сосках. А к сему трубил дьявол через нос, так что раздавалось по всему лесу, а как сей танец скоро пришел к концу, то принялась вся адская кумпань бушевать, кричать, шуметь, греметь, выть, яриться и неистовствовать, как если бы они все вздурели и взбесились. Тут всякий легко рассудить может, в каком я пребывал тогда страхе и ужасе.

Посреди скаредного сего шума и мерзостного гомона приблизился ко мне молодчик, зажимавший под мышкою преогромную жабу, величиной, почитай, с добрую литавру; все кишки у нее были выворочены из заду наружу и снова запиханы в глотку, что имело вид столь гнусный, что я зачал блевать. «Подыми очи, Симплициус, – сказал он, – ведомо мне, что ты изрядно играешь на лютне, так повесели же и нас своим искусством». Я так испугался, что едва не упал, ибо молодчик назвал меня по имени, и в таком страхе вовсе онемел, возомнив, что мне привиделся худой сон, и того ради усердно помолился в сердце своем всемогущему Богу, дабы ниспослал он мне пробуждение и пособил от несносного сего сна избавиться. Однако ж молодчик с жабою под мышкой, с коего я не сводил оцепенелого взора, зачал вбирать и выпускать свой нос, подобно калькуттскому петуху, и напоследок толкнул меня в грудь, так что я едва не задохнулся. Того ради стал я громко призывать имя Божие, восклицая: «Господь Иисус Христос!» И едва произнес я сии могущественные слова, как исчезло все воинство. В миг соделалась кромешная тьма, и у меня так замерло сердце, что я повалился наземь, без счету осеняя себя крестным знаменем.

Восемнадцатая глава

Симплиций просит о том не мыслить,

Что льет он пули, лишь только свистни

Так как бывают люди, а среди них встречаются также благородные и ученые мужи, кои не верят в то, что на свете есть ведьмы или колдуны, не говоря уже о том, чтобы они носились и летали по воздуху, то я не сомневаюсь, что сыщутся и такие, которые скажут: «Ну и мастак же Симплициус отливать пули!» Я не охотник заводить споры с такими людьми, ибо лить пули в нынешнее время стало уже не искусством, а почитай что за обыкновеннейшим ремеслом, да и признать должен, что из меня вышел бы худой спорщик, как я был еще тогда порядочный простофиля. Однако ж те, что отрицают полеты ведьм, пусть вспомнят одного только Симона Волхва, который силою злого духа поднялся на воздух и по молитве святого Петра низвергнулся вниз. Николай Ремигий, муж доблестный, ученый и разумный, по чьему повелению в герцогстве Лотарингском была сожжена не одна ведьма, повествует о некоем Иоганне Хембахе, что его мать, которая была ведьмой, на шестнадцатом году его жизни стала брать его с собою на шабаш, где он, будучи обучен играть на дудке, должен был доставлять музыку к их танцу. Для сего взобрался он на дерево и дудел на дудке прилежно, взирая на сей танец (быть может, потому что все казалось ему весьма диковинным, понеже и впрямь там все ведется дураческим образом); напоследок сказал он: «Помилуй бог, откуда собралось тут столько дурацкой и безрассудной сволочи?» Но едва только вымолвил он эти слова, как тотчас же сверзился с дерева, вывихнул плечо и стал взывать о помощи; но там, кроме него, никого не было. А как потом он расславил на весь мир о сем приключении, то многие почли это за басню, покуда через короткое время не была схвачена за чародейство Катарина Проводил, которая также присутствовала на сем танце: она объявила обо всем, что там велось, хотя ничего не знала о всеобщей молве, которую распустил Хембах. Майолус, епископ, приводит два примера о батраке, неотступно следовавшем за своею госпожою, и о некоем прелюбодее, который взял скляницу своей любушки и намазался ее мазью, и так оба они попали на шабаш ведьм. Рассказывают также об одном батраке, который встал спозаранок и стал мазать телегу; но понеже в потемках подвернулась ему не та банка, что следовало ему взять, то вся телега поднялась на воздух, так что пришлось их обратно тянуть на землю. Олаус Магнус в *lib. 3. Hist. de gentibus septentrional. I, cap. 19*, повествует, что Хадингус, король Дании, после того как он был изгнан некими бунтовщиками из своего королевства, снова возвратился в него по воздуху, будучи перенесен через море духом Одина, принявшим облик коня. Также довольно известно, каким образом женки и незамужние девки в Богемии понуждают своих хахалей совершать с ними по ночам далекий путь верхом на козлах. Пусть-ко почитают, что рассказывает Торквемада в своем «Гексамероне» об одном школяре. Также Гриландус пишет о некоем знатном господине, который, приметив, что жена его натирается мазями и потом пропадает из дому, однажды принудил ее взять его с собою на колдовское сборище. А когда они там трапезовали и не случилось соли, то стал он просить, чтобы ему ее подали, и, получив после долгих проволочек, воскликнул: «Слава те Господи, вот и соль пожаловала», – как разом погасли огни и все исчезло. А когда занялся день, узнал он от пастухов, что обретается неподалеку от города Беневенто в Неаполитанском королевстве, а значит, более чем в ста милях от своей родины. Того ради, хотя и был он богат, принужден был попрошайничать, чтобы добраться до дому; а когда он воротился,

тотчас же объявил перед управителями, что его жена чародейка, каковую затем и сожгли. А как доктор Фауст и многие другие, которые, однако ж, не были чародеями, перелетали по воздуху с места на место, довольно известно из его «Истории». Также можно прочитать у Боккаччо о некоем дворянине из Ломбардии, чей отец, сам того не ведая, приютил у себя египетского султана; а когда сей дворянин был захвачен в плен и приведен к султану и тот его узнал, то повелел уложить его в великолепную постель и положить рядом с ним много золота, а затем с помощью одного чародея сонного перенести в Павию, где и опустить в соборе. Да и я сам знавал одну госпожу и ее служанку, кои, однако ж, в то самое время, когда я это пишу, давно уже померли, хотя отец девки еще жив. Так вот эта девка, однажды стоя у очага, мазала башмаки своей хозяйки, а когда она с одним башмаком покончила и отставила в сторону, чтобы приняться за другой, как тот башмак, что был намазан, внезапно вылетел в каминную трубу; но сие дело замаяли. Все сие привожу я для того только, дабы доподлинно знали, что колдуны и чародейки по временам отправляются на свои сборища в телесном виде, а вовсе не затем, чтобы беспрременно уверовали, что и я сам, как было о том рассказано, там бывал; ибо мне все едино, поверит ли кто или нет, а кто не верит, пусть-ко измыслит, каким иным путем был я препровожден из аббатства Хиршфельд или Фульда (ибо я сам не знаю, в каких я тогда блуждал лесах) в епископство Магдебургское.

Девятнадцатая глава

Симплициус снова играет на лютне,

Готов он приняться за старые плутни

Приступаю снова к моей истории и хочу уверить читателя, что я так и пролежал на животе, покуда не занялся светлый день, ибо мне недоставало храбрости подняться; к тому же был я еще в сомнении, не привиделись ли мне все сказанные чудеса во сне. И хотя находился я еще в изрядном страхе, однако ж был столь смел, что уснул, ибо рассудил, что не могу обраться в более лихом мосте, нежели в глухом лесу, где я провел большую часть времени с тех пор, как покинул своего батьку, а посему довольно к тому приобик. Было примерно девять часов утра, когда наехал на меня отряд фуражиров, которые меня и разбудили; тут только увидел я, что лежу посреди открытого поля. Фуражиры увезли меня с собою к ветряным мельницам, а затем, смолов там все зерно, отправились в лагерь под Магдебургом, где представили меня пред ясные очи некоего полковника. Сей спросил меня, откуда я взялся и какому господину принадлежал. Я пересказал все досконально, и понеже не знал, как мне назвать кроатов, то описал их по платью и привел их любимые словечки, а также, что от этих людей я дал тягу; однако ж промолчал о своих дукатах; а все, что я наговорил о полете на шабаш ведьм, почли за вздорные выдумки и дурацкую болтовню, особливо же как пустился я в такие разглагольствования, что прямо уши вяли. Меж тем собралась вокруг меня превеликая толпа народу (ибо не зря сказано, что от одного дурня тысяча других родится); а среди них прилунился тут один, который о прошлом годе был в плену в Ганау и записался там в службу, однако снова перебежал к имперским. Он признал меня и тотчас воскликнул: «Эге! Да ведь это комендантов теля из Ганау». Полковник тотчас стал расспрашивать его о многих касающихся меня обстоятельствах; но сей малый ничего более обо мне не знал, как только что я умею играть на лютне, item что меня захватили перед крепостью и увели из гарнизона в Ганау кроаты и что сказанный комендант сожалел о такой потере, ибо я был весьма забавный дурень. Засим полковница послала к другой полковнице, которая изрядно играла на лютне и того ради беспрестанно возила сей инструмент с собою, и попросила одолжить ей. Лютню принесли и вручили мне с повелением показать свое искусство. Я же рассудил, что сперва надлежит утолить голод, ибо впалый живот и пузатая лютня произведут худую гармонию. Так и случилось; а когда я изрядно набил зоб и пропустил добрый глоток цербстского пива, то показал свое искусство в игре на лютне и в пении, как только мог, а притом еще болтал все, что ни взбретет на ум, и таким образом без особых трудов вселил в них уверенность, что я сам того же разбору, как и смешное мое телячье платье. Полковник спросил меня, куда я намерен податься, а как я ответил, что мне все едино, то мы скоро порешили, что я останусь у него и буду служить ему пажем. Он пожелал также узнать, куда подевались мои ослиные уши. «Эва, – ответил я ему, – когда ты знал бы, где они, то пришлось бы и тебе как раз впору». Однако ж сумел промолчать, в чем тут сила, ибо в них заключено было все мое богатство.

За короткое время узнали меня все высшие офицеры как в саксонском, так и в имперском лагере, а особливо женщины, которые украшали шелковыми лентами различных цветов мой колпак, рукава и обкорнанные уши, так что порой думаю, верно уж некоторые щеголи переняли отсюда теперешнюю моду. А все деньги, коими одаривали меня офицеры, я снова щедро расточал, ибо тратил их до последнего геллера, потягивая с добрыми приятелями гам-

бургское и цербстское пиво, каковые сорта мне более всего пришлись по вкусу, невзирая на то что всюду, куда бы я ни пришел, я мог вдоволь попить на дармовщину.

А когда мой полковник обзавелся собственной лютнею, ибо возомнил, что я буду при нем находиться до скончания века, то мне уже не позволяли больше таскаться из одного лагеря в другой и приставили ко мне наставника, дабы он за мною надзирал, а я оказывал ему послушание. Сей муж был по моему нраву, смирен, разумен, изрядно учен, однако ж не весьма искусен в речах и, что превыше всего, необычайно богобоязнен, начитан и знаток всяких наук и художеств. Ночь должен был я провождать в одной с ним палатке, а днем я не смел отлучаться от его глаз. Был он у некоего славного князя советником и чиновником и в то время весьма богат, но как его вконец разорили шведы, а жену унесла смерть, и его единственный сын по бедности не мог далее совершенствоваться в науках и служил писарем в саксонском войске, то и он обрел пристанище у сказанного полковника, у коего согласился стать шталмейстером, дабы переждать, покуда не переменится опасное течение войны у берегов Эльбы и не воссияет вновь солнце прежнего его благополучия.

Двадцатая глава

Симплиций с наставником ходит по лагерю,

Где в кости ландскнехты играют сполагоря

Понеже наставник мой был скорее в преклонных летах, а не молод, то не мог он уже спать всю ночь напролет, и сие было причиною того, что ему в первую же педелю открылись все мои тайности, и он несомненно уразумел, что я вовсе не такой дурень, каким прикидываюсь, хотя он еще и раньше кое-что приметил и по лицу моему распознал, что все обстоит иначе, ибо он был сведущ также и в физиогномике. Однажды пробудился я около полуночи и стал размышлять о собственной жизни и бывших со мною диковинных приключениях и восстал с ложа своего и возблагодарил всевышнего, исчислив все щедроты, которые он излил на меня, и все великие опасности, от коих он меня избавил, а также с ревностным благоговением препоручил Богу все свои будущие дела и начинания; и просил Его не только отпустить мне все мои прегрешения, содеянные мною под дурацкою личиною, но и милостиво избавить меня от моего дурацкого обличья, дабы и я был сопричастен ко всем прочим разумным людям; засим с тяжкими вздыханиями улегся я снова в постель и тотчас уснул.

Наставник мой слышал все, однако ж притворился, что крепко спит, и так повелось несколько ночей кряду, покуда он не уверился, что у меня больше разума, нежели у иных старцев, которые премного мнят о себе, но он ничего не сказал мне в палатке, ибо стены ее были слишком тонки, и он по известной причине не хотел, чтобы раньше времени, прежде чем он совершенно убедится в моей невинности, кто-нибудь другой проник в сию тайну. Однажды пошел я погулять за лагерь, что он охотно мне дозволил, дабы я подал ему повод отправиться на поиски и улучшить случай поговорить со мною наедине. Он нашел меня, согласно своему желанию, в уединенном месте, где я давал аудиенцию собственным мыслям, и сказал, обратившись ко мне: «Любезный друг! Понеже я пекусь о твоём благе, то весьма рад, что могу потолковать здесь с тобою наедине. Я знаю, что ты не такой дурень, каким притворяешься, а также, что ты вовсе не желаешь провождать жизнь свою в сем плачевном и смеха достойном состоянии. Когда тебе дорого твое благополучие и ты всем сердцем стремишься к тому, о чем всякую ночь молишь Бога, и пожелаешь ввериться мне как честному мужу, то можешь поведать мне обо всех твоих обстоятельствах; я же в свой черед пособлю тебе, сколь возможно, советом и делом выбраться из шутовского твоего платья».

Тут пал я ему на шею и от чрезвычайной радости повел себя не иначе, как если бы он был ангел или по крайности пророк, ниспосланный с неба, дабы избавить меня от дурацкого моего колпака. И когда мы присели на землю, поведал я ему всю свою жизнь; он же поглядел на мои ладони и подивился как бывшим со мною, так и грядущим диковинным приключениям, однако ж присоветовал мне ни в коем случае не скидывать вскорости дурацкое мое платье, ибо он, как сказывал, посредством хиромантии узрел, что мой рок уготовляет мне темницу с превеликою опасностью для моего здравия и самой жизни. Я поблагодарил его за расположение ко мне и преподанный совет и молил Бога вознаградить его за такое добросердечие, а его самого просил (ибо я был покинут от всего света) стать и пребывать вовеки моим отцом и другом.

Засим поднялись мы и пошли на игорную площадь, где сражаются в кости и громоздят божбу на божбу, изрыгая такие хулы, что хоть ими мости крепостные рвы, на галеры грузи да вон вывози. Сия площадь была примерно столь же велика, как старый рынок в Кельне,

и вся усеяна плащами и заставлена столиками, окруженными игроками. У каждой компании было по три костяных шельмеца, коим вверяли они свое счастье, ибо сии кубики делили их деньги, вручая одному то, что отняли у другого. Под каждым плащом или возле каждого стола стоял посредник, или хозяин, сего обиралища (игрالیща, хотел я сказать, да обмолвился). Сия должность состояла в том, что им надлежало быть судьями и доглядывать, чтобы не было никакого плутовства; также ссужали они плащами, столиками и костями, за что получали свою мзду и долю от выигрыша, и обычно прихапывали себе большую часть денег, только они не шли им впрок, ибо они обыкновенно снова проигрывали все дотла; а когда им все же приводилось скопить малую толику, то доставались эти денежки маркитанту или хирургу, ибо весьма часто им проламывали головы.

Скопище сих дурней являло весьма диковинное позорище, ибо все они возмечтали выиграть, что вовсе было невозможно, ибо каждый должен был получить барыш из чужого кармана, и хотя все они питали такую надежду, но дело шло по пословице: «Сколько голов, столько умов», ибо всякая голова подумывала о своем счастье, так что иным была удача, а иным незадача, одни выигрывали, другие продувались. А посему иные ругались, иные изрыгали проклятья, иные плутовали, а иных обдирали, как липку. И того ради выигравшие смеялись, а проигравшие кусали губы; кто спускал платье и продавал все, что было дорого, а кто и снова отыгрывал свои денежки, иные оралы, чтобы им подали безобманные кости, а другие, напротив, воздыхали о фальшивых и неприметно подсовывали их в игру, а третьи их выхватывали, разбивали и разгрызали зубами и рвали в клочья плащи содержателей сего обиралища. Среди фальшивых костей были «нидерландцы», их надобно было пускать понизу с раскатцем, ибо у них были острые горбовины, словно хребты тощих деревянных ослов, на которых сажали провинившихся солдат; на них-то и были означены «пятерки» и «шестерки». А еще были там «оберландцы», им надобно было показать баварские горы, коли норовишь сорвать изрядный куш. А некоторые были поделаны из оленьего рогу, легки сверху и тяжелы снизу; другие же налиты ртутью или свинцом, а иные начинены рубленным волосом, губками, соломою и толченым углем; у одних были острые ребра, а у других, напротив, совсем сточены; одни вытянулись, как бочонки, а другие расплющились, как черепахи. И все были изготовлены не для чего иного, как для обману; и они делали свое дело, к какому и были предназначены, все едино, брякали ли их с размаху или пускали скользить тихохонько; супротив таких костей уже не могло пособить никакое проворство, не говоря уже о таких, где были по две пятерки или шестерки или, напротив, по два раза очко или по две двойки; с помощью оных шельмецов выуживали, выманивали и похищали они друг у друга деньги, которые, быть может, сами промыслили себе разбоем, или, по крайности, добыли с превеликою опасностью для жизни и здравия, либо приобрели каким-либо тяжким трудом и заботою.

А когда я стоял разинув рот и глядел на сию площадь, на игроков и все их дурачества, наставник мой спросил меня, любо ли мне то, что тут деется. Я отвечал: «То, что тут так ужасно сквернят имя божие, мне непереносно, а что до всего прочего, худо оно или хорошо, то я этого не касаюсь, ибо сие дело мне неведомо, и я его еще никак не разумею». На что сказал мне мой наставник далее: «Так ведай, что сие самое скаредное и мерзкое место во всем лагере; ибо здесь посягают на чужие деньги, а теряют свои. И когда кто-нибудь ступит хоть один шаг сюда в намерении предаться игре, то уже тем самым он переступает десятую заповедь, коя повелевает нам: „Не пожелай ничего, что елико суть ближнего твоего“. А почнешь играть и выиграешь, особливо же с помощью обмана и фальшивых костей, то переступишь седьмую и восьмую заповедь. И может случиться, что ты станешь убийцею того, кого обыграешь, ежели потеря его будет столь велика, что ввергнет его в бедность, крайнюю нужду и отчаяние или иной какой пагубный порок, и тут не поможет отговорка, когда ты скажешь: „Я ведь ставил и свои деньги и, значит, честно выиграл“; ибо ты плут и пошел на игорную площадь с намерением обогатиться на чужой беде. А проиграешь, то не испкуить своей вины тем, что лишишься

своего достояния, а будешь строгий ответ держать перед Господом, подобно богачу, ибо ты бесполезно расточал то, что было даровано тебе на пропитание твое и твоих сродников! Кто отправляется на игорную площадь, дабы предаться игре, тот вдается в опасность лишиться не токмо своих денег, но и телесного здоровья и своей жизни и, что ужаснее всего, душевного спасения. Я говорю это тебе, любезный Симплициус, для твоего сведения, ибо ты уверяешь, что тебе неведомо, что такое игра, – дабы ты всю свою жизнь остерегался такой пагубы».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.